Классика для школьников

ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ МАЛЬЧИК

Рассказы русских писателей для детей

Рекомендовано лучшими учителями

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В книгу вошли рассказы русских писателей для детей: «Гуттаперчевый мальчик» Дмитрия Васильевича Григоровича (1822–1900); «Воробьишко», «Случай с Евсейкой», «Про Иванушку-дурачка», «Встряска. Страничка из Мишкиной жизни» Максима Горького, настоящее имя – Алексей Максимович Пешков (1868–1936); «Белый пудель», «Храбрые беглецы», «Ю-ю», «Слон», «Чудесный доктор», «Тапёр», «Синяя звезда» Александра Ивановича Куприна (1870–1938).

История «гуттаперчевого мальчика» печальна. Петя лишился матери на пятом году жизни, и его определили в ученье к акробату Беккеру. Ученье давалось нелегко тщедушному мальчишке. Однажды клоун подарил Пете щенка, но радость мальчика была недолгой…

А вот история маленького акробата Сережи из «Белого пуделя» заканчивается благополучно – мальчику удается вызволить своего любимого пуделя Арто…

Рассказы сборника очень разные, но объединяет их одно – они учат понимать чужую боль, сочувствовать, сопереживать.

- Гуттаперчевый мальчик: рассказы русских писателей для детей
  - Дмитрий Васильевич Григорович
    - Гуттаперчевый мальчик
  - Максим Горький
    - Воробьишко
    - Случай с Евсейкой
    - Про Иванушку-дурачка
    - Встряска
  - Александр Иванович Куприн
    - Белый пудель
    - Храбрые беглецы
    - Ю-ю
    - Слон
    - Чудесный доктор
    - ТапЁр
    - Синяя звезда
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4

- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16

Гуттаперчевый мальчик: рассказы русских писателей для детей

Дмитрий Васильевич Григорович

Гуттаперчевый мальчик

«…Когда я родился – я заплакал; впоследствии каждый прожитой день объяснял мне, почему я заплакал, когда родился…»

I

Метель! Метель!! И как это вдруг! Как неожиданно!!! А до того времени стояла прекрасная погода. В полдень слегка морозило; солнце, ослепительно сверкая по снегу и заставляя всех щуриться, прибавляло к весёлости и пестроте уличного петербургского населения, праздновавшего пятый день Масленицы. Так продолжалось почти до трёх часов, до начала сумерек, и вдруг налетела туча, поднялся ветер, и снег повалил с такою густотою, что в первые минуты ничего нельзя было разобрать на улице.

Суета и давка особенно чувствовались на площади против цирка. Публика, выходившая после утреннего представления, едва могла пробираться в толпе, валившей с Царицы на Луга, где были балаганы. Люди, лошади, сани, кареты – всё смешалось. Посреди шума раздавались со всех концов нетерпеливые возгласы, слышались недовольные, ворчливые замечания лиц, застигнутых врасплох метелью. Нашлись даже такие, которые тут же не на шутку рассердились и хорошенько её выбранили.

К числу последних следует прежде всего причислить распорядителей цирка. И в самом деле, если принять в расчёт предстоящее вечернее представление и ожидаемую на него публику, – метель легко могла повредить делу. Масленица бесспорно владеет таинственной силой пробуждать в душе человека чувство долга к употреблению блинов, услаждению себя увеселениями и зрелищами всякого рода; но, с другой стороны, известно также из опыта, что чувство долга может иногда пасовать и слабнуть от причин, несравненно менее достойных, чем перемена погоды. Как бы там ни было, метель колебала успех вечернего представления; рождались даже некоторые опасения, что если погода к восьми часам не улучшится – касса цирка существенно пострадает.

Так или почти так рассуждал режиссёр цирка, провожая глазами публику, теснившуюся у выхода. Когда двери на площадь были заперты, он направился через залу к конюшням.

В зале цирка успели уже потушить газ. Проходя между барьером и первым рядом кресел, режиссёр мог различить сквозь мрак только арену цирка, обозначавшуюся круглым мутно-желтоватым пятном; остальное всё: опустевшие ряды кресел, амфитеатр, верхние галереи – уходили в темноту, местами неопределённо чернея, местами пропадая в туманной мгле, крепко пропитанной кисло-сладким запахом конюшни, амьяка, сырого песку и опилок. Под куполом воздух так уже сгущался, что трудно было различать очертание верхних окон; затемнённые снаружи пасмурным небом, залепленные наполовину снегом, они проглядывали вовнутрь, как сквозь кисель, сообщая настолько свету, чтобы нижней части цирка придать ещё больше сумрака. Во всём этом обширном тёмном пространстве свет резко проходил только золотистой продольной полоской между половинками драпировки, ниспадавшей под оркестром; он лучом врезывался в тучный воздух, пропадал и снова появлялся на противоположном конце у выхода, играя на позолоте и малиновом бархате средней ложи.

За драпировкой, пропускавшей свет, раздавались голоса, слышался лошадиный топот; к ним время от времени присоединялся нетерпеливый лай учёных собак, которых запирали, как только оканчивалось представление. Там теперь сосредоточивалась жизнь шумного персонала, одушевлявшего полчаса тому назад арену цирка во время утреннего представления. Там только горел теперь газ, освещая кирпичные стены, наскоро забелённые известью. У основания их, вдоль закруглённых коридоров, громоздились сложенные декорации, расписные барьеры и табуреты, лестницы, носилки с тюфяками и коврами, свёртки цветных флагов; при свете газа чётко обрисовывались висевшие на стенах обручи, перевитые яркими бумажными цветами или заклеенные тонкой китайской бумагой; подле сверкал длинный золочёный шест и выделялась голубая, шитая блёстками, занавеска, украшавшая подпорку во время танцевания на канате. Словом, тут находились все те предметы и приспособления, которые мгновенно переносят воображение к людям, перелетающим в пространстве, женщинам, усиленно прыгающим в обруч с тем, чтобы снова попасть ногами на спину скачущей лошади, детям, кувыркающимся в воздухе или висящим на одних носках под куполом.

Несмотря, однако ж, что всё здесь напоминало частые и страшные случаи ушибов, перелома рёбер и ног, падений, сопряжённых со смертью, что жизнь человеческая постоянно висела здесь на волоске и с нею играли, как с мячиком, – в этом светлом коридоре и расположенных в нём уборных встречались

больше лица весёлые, слышались по преимуществу шутки, хохот и посвистыванье.

Так и теперь было.

В главном проходе, соединявшем внутренний коридор с конюшнями, можно было видеть почти всех лиц труппы. Одни успели уже переменить костюм и стояли в мантильях, модных шляпках, пальто и пиджаках; другим удалось только смыть румяна и белила и наскоро набросить пальто, из-под которого выглядывали ноги, обтянутые в цветное трико и обутые в башмаки, шитые блёстками; третьи не торопились и красовались в полном костюме, как были во время представления.

Между последними особенное внимание обращал на себя небольшого роста человек, обтянутый от груди до ног в полосатое трико с двумя большими бабочками, нашитыми на груди и на спине. По лицу его, густо замазанному белилами, с бровями, перпендикулярно выведенными поперёк лба, и красными кружками на щеках, невозможно было бы сказать, сколько ему лет, если бы он не снял с себя парика, как только окончилось представление, и не обнаружил этим широкой лысины, проходившей через его голову.

Он заметно обходил товарищей, не вмешивался в их разговоры. Он не замечал, как многие из них подталкивали друг друга локтем и шутливо подмигивали, когда он проходил мимо.

При виде вошедшего режиссёра он попятился, быстро отвернулся и сделал несколько шагов к уборным; но режиссёр поспешил остановить его.

– Эдвардс, погодите минутку; успеете ещё раздеться! – сказал режиссёр, внимательно поглядывая на клоуна, который остановился, но, по-видимому, неохотно это сделал, – подождите, прошу вас; мне надо только переговорить с фрау Браун… Где мадам Браун? Позовите её сюда… А, фрау Браун! – воскликнул режиссёр, обратясь к маленькой хромой, уже не молодой женщине, в салопе, также не молодых лет, и шляпке, ещё старше салопа.

Фрау Браун подошла не одна: её сопровождала девочка лет пятнадцати, худенькая, с тонкими чертами лица и прекрасными выразительными глазами.

Она также была бедно одета.

– Фрау Браун, – торопливо заговорил режиссёр, бросая снова испытующий взгляд на клоуна Эдвардса, – господин директор недоволен сегодня вами – или, всё равно, вашей дочерью: очень недоволен!.. Ваша дочь сегодня три раза упала и третий раз так неловко, что перепугала публику!

– Я сама испугалась, – тихим голосом произнесла фрау

Браун, – мне показалось, Мальхен упала на бок…

– А, па-па-ли-па! Надо больше репетировать, вот что! Дело в том, что так невозможно; получая за вашу дочь сто двадцать рублей в месяц жалованья…

– Но, господин режиссёр, Бог свидетель, во всём виновата лошадь; она постоянно сбивается с такта; когда Мальхен прыгнула в обруч – лошадь опять переменила ногу, и Мальхен упала… вот все видели, все то же скажут…

Все видели – это правда; но все молчали. Молчала также виновница этого объяснения; она ловила случай, когда режиссёр не смотрел на неё, и робко на него поглядывала.

– Дело известное, всегда в таких случаях лошадь виновата, – сказал режиссёр. – Ваша дочь будет, однако ж, на ней ездить сегодня вечером.

– Но она вечером не работает…

– Будет работать, сударыня! Должна работать!.. – раздражённо проговорил режиссёр. – Вас нет в расписании, это правда, – подхватил он, указывая на писаный лист бумаги, привешенный к стене над доскою, усыпанной мелом и служащей артистам для обтирания подошв перед выходом на арену, – но это всё равно; жонглёр Линд внезапно захворал, ваша дочь займёт его номер.

– Я думала дать ей отдохнуть сегодня вечером, – проговорила фрау Браун, окончательно понижая голос, – теперь Масленица: играют по два раза в день; девочка очень устала…

– На это есть первая неделя поста, сударыня; и, наконец, в контракте ясно, кажется, сказано: «артисты обязаны играть ежедневно и заменять друг друга в случае болезни»… Кажется, ясно; и, наконец, фрау Браун: получая за вашу дочь ежемесячно сто двадцать рублей, стыдно, кажется, говорить об этом: именно стыдно!..

Отрезав таким образом, режиссёр повернулся к ней спиною. Но прежде чем подойти к Эдвардсу, он снова обвёл его испытующим взглядом.

Притуплённый вид и вообще вся фигура клоуна, с его бабочками на спине и на груди, не предвещали на опытный глаз ничего хорошего; они ясно указывали режиссёру, что Эдвардс вступил в период тоски, после чего он вдруг начинал пить мёртвую; и тогда уже прощай все расчёты на клоуна – расчёты самые основательные, если принять во внимание, что Эдвардс был в труппе первым сюжетом, первым любимцем публики, первым потешником, изобретавшим чуть ли не каждое представление что-нибудь новое, заставлявшее зрителей смеяться до упаду и хлопать до неистовства. Словом, он был душою цирка,

главным его украшением, главной приманкой.

Боже мой, что мог бы сказать Эдвардс в ответ товарищам, часто хваставшим перед ним тем, что их знала публика и что они бывали в столицах Европы! Не было цирка в любом большом городе от Парижа до Константинополя, от Копенгагена до Палермо, где бы не хлопали Эдвардсу, где бы не печатали на афишах его изображение в костюме с бабочками! Он один мог заменять целую труппу: был отличным наездником, эквилибристом, гимнастом, жонглёром, мастером дрессировать учёных лошадей, собак, обезьян, голубей, а как клоун, как потешник – не знал себе соперника. Но припадки тоски в связи с запоем преследовали его повсюду.

Всё тогда пропадало. Он всегда предчувствовал приближение болезни; тоска, овладевавшая им, была ничего больше, как внутреннее сознание бесполезности борьбы; он делался угрюмым, несообщительным. Гибкий, как сталь, человек превращался в тряпку, – чему втайне радовались его завистники и что пробуждало сострадание между теми из главных артистов, которые признавали его авторитет и любили его; последних, надо сказать, было немного. Самолюбие большинства было всегда более или менее задето обращением Эдвардса, никогда не соблюдавшего степеней и отличий: первый ли сюжет, являвшийся в труппу с известным именем, простой ли смертный тёмного происхождения, – для него было безразлично. Он явно даже предпочитал последних.

Когда он был здоров, его постоянно можно было видеть с каким-нибудь ребёнком из труппы; за неимением такого он возился с собакой, обезьяной, птицей и т. д.; привязанность его рождалась всегда как-то вдруг, но чрезвычайно сильно. Он всегда отдавался ей тем упорнее, чем делался молчаливее с товарищами, начинал избегать с ними встреч и становился всё более и более сумрачным.

В этот первый период болезни управление цирка могло ещё на его рассчитывать. Представления не успевали ещё утрачивать над ним своего действия. Выходя из уборной в трико с бабочками, в рыжем парике, набеленный и нарумяненный, с перпендикулярно наведёнными бровями, он видимо ещё бодрился, присоединяясь к товарищам и приготовляясь к выходу на арену.

Прислушиваясь к первым взрывам аплодисментов, крикам «браво!», звукам оркестра, – он постепенно как бы оживал, воодушевлялся, и стоило режиссёру крикнуть: «Клоуны, вперёд!..» – он стремительно вылетал на арену, опережая товарищей; и уже с этой минуты, посреди взрывов хохота и

восторженных «браво!» – неумолкаемо раздавались его плаксивые возгласы, и быстро, до ослепления, кувыркалось его тело, сливаясь при свете газа в одно круговое непрерывное сверкание…

Но кончалось представление, тушили газ – и всё как рукой сымало! Без костюма, без белил и румян Эдвардс представлялся только скучающим человеком, старательно избегавшим разговоров и столкновений. Так продолжалось несколько дней, после чего наступала самая болезнь: тогда ничего уже не помогало: он всё тогда забывал; забывал свои привязанности, забывал самый цирк, который, с его освещённой ареной и хлопающей публикой, заключал в себе все интересы его жизни. Он исчезал даже совсем из цирка; всё пропивалось, пропивалось накопленное жалованье, пропивалось не только трико с бабочками, но даже парик и башмаки, шитые блёстками.

Понятно теперь, отчего режиссёр, следивший ещё с начала Масленицы за возраставшим унынием клоуна, поглядывал на него с таким беспокойством. Подойдя к нему и бережно взяв его под руку, он отвёл его в сторону.

– Эдвардс, – произнёс он, понижая голос и совершенно дружественным тоном, – сегодня у нас пятница; остались суббота и воскресенье – всего два дня! Что стоит переждать, а?.. Прошу вас об этом; директор также просит… Подумайте, наконец, о публике! Вы знаете, как она вас любит!!. Два дня всего! – прибавил он, схватывая его руку и принимаясь раскачивать её из стороны в сторону. – Кстати, вы что-то хотели сказать мне о гуттаперчевом мальчике, – подхватил он, очевидно более с целью развлечь Эдвардса, так как ему было известно, что клоун в последнее время выражал особенную заботливость к мальчику, что служило также знаком приближавшейся болезни, – вы говорили, он стал как будто слабее работать. Мудрёного нет: мальчик в руках такого болвана, такого олуха, который может только его испортить! Что же с ним?

Эдвардс, не говоря ни слова, тронул себя ладонью по крестцу, потом похлопал по груди.

– И там и здесь нехорошо у мальчика, – сказал он, отводя глаза в сторону.

– Нам невозможно, однако ж, от него теперь отказаться; он на афишке; некем заменить до воскресенья; два дня пускай ещё поработает; там может отдохнуть, – сказал режиссёр.

– Может также не выдержать, – глухо возразил клоун.

– Вы бы только выдержали, Эдвардс! Вы бы только нас не оставили! – живо и даже с нежностью в голосе подхватил режиссёр, принимаясь снова раскачивать руку Эдвардса.

Но клоун ответил сухим пожатием, отвернулся и медленно

пошёл раздеваться.

Он остановился, однако ж, проходя мимо уборной гуттаперчевого мальчика, или, вернее, уборной акробата Беккера, так как мальчик был только его воспитанником. Отворив дверь, Эдвардс вошёл в крошечную низкую комнату, расположенную под первой галереей для зрителей; нестерпимо было в ней от духоты и жары; к конюшенному воздуху, разогретому газом, присоединялся запах табачного дыма, помады и пива; с одной стороны красовалось зеркальце в деревянной раме, обсыпанной пудрой; подле, на стене, оклеенной обоями, лопнувшими по всем щелям, висело трико, имевшее вид содранной человеческой кожи; дальше, на деревянном гвозде, торчала остроконечная войлоковая шапка с павлиньим пером на боку; несколько цветных камзолов, шитых блёстками, и часть мужской обыденной одежды громоздились в углу на столе. Мебель дополнялась ещё столом и двумя деревянными стульями. На одном сидел Беккер – совершенное подобие Голиафа. Физическая сила сказывалась в каждом его мускуле, толстой перевязке костей, коротенькой шее с надутыми венами, маленькой круглой голове, завитой вкрутую и густо напомаженной. Он казался не столько отлитым в форму, сколько вырубленным из грубого материала, и притом грубым инструментом; хотя ему было на вид лет под сорок, – он казался тяжеловесным и неповоротливым – обстоятельство, нисколько не мешавшее ему считать себя первым красавцем в труппе и думать, что при появлении его на арене в трико телесного цвета он приводит в сокрушение женские сердца. Беккер снял уже костюм, он был ещё в рубашке и, сидя на стуле, прохлаждал себя кружкою пива.

На другом стуле помещался, тоже завитой, но совершенно голый, белокурый и худощавый мальчик лет восьми. Он не успел ещё простыть после представления; на тоненьких его членах и впадине посреди груди местами виднелся ещё лоск от испарины; голубая ленточка, перевязывавшая ему лоб и державшая его волосы, была совершенно мокрая; большие влажные пятна пота покрывали трико, лежавшее у него на коленях. Мальчик сидел неподвижно, робко, точно наказанный или ожидающий наказания.

Он поднял глаза тогда только, как Эдвардс вошёл в уборную.

– Чего надо? – неприветливо произнёс Беккер, поглядывая не то сердито, не то насмешливо на клоуна.

– Полно, Карл, – возразил Эдвардс задобривающим голосом, и видно было, что требовалось на это с его стороны некоторое усилие, – ты лучше вот что: дай-ка мне до семи часов мальчика; я бы погулял с ним до представления… Повёл бы его на площадь

поглядеть на балаганы…

Лицо мальчика заметно оживилось, но он не смел этого явно выказать.

– Не надо, – сказал Беккер, – не пущу; он сегодня худо работал.

В глазах мальчика блеснули слёзы, взглянув украдкой на Беккера, он поспешил раскрыть их, употребляя все свои силы, чтобы тот ничего не приметил.

– Он вечером лучше будет работать, – продолжал задобривать Эдвардс. – Послушай-ка, вот что я скажу: пока мальчик будет простывать и одеваться, я велю принести из буфета пива…

– И без того есть! – грубо перебил Беккер.

– Ну, как хочешь; а только мальчику было бы веселее; при нашей работе скучать не годится; сам знаешь: весёлость придаёт силу и бодрость…

– Это уж моё дело! – отрезал Беккер, очевидно бывший не в духе.

Эдвардс больше не возражал. Он взглянул ещё раз на мальчика, продолжавшего делать усилия, чтобы не заплакать, покачал головою и вышел из уборной.

Карл Беккер допил остаток пива и приказал мальчику одеваться. Когда оба были готовы, акробат взял со стола хлыст, свистнул им по воздуху, крикнул: «Марш!» и, пропустив вперёд воспитанника, зашагал по коридору.

Глядя, как они выходили на улицу, воображению невольно представлялся тщедушный, неоперившийся цыплёнок, сопровождаемый огромным откормленным боровом…

Минуту спустя цирк совсем опустел; оставались только конюхи, начинавшие чистить лошадей для вечернего представления.

II

Воспитанник акробата Беккера назывался «гуттаперчевым мальчиком» только в афишах; настоящее имя его было Петя; всего вернее, впрочем, было бы назвать его несчастным мальчиком.

История его очень коротка; да и где ж ей быть длинной и сложной, когда ему минул всего восьмой год!

Лишившись матери на пятом году возраста, он хорошо, однако ж, её помнил. Как теперь видел бы перед собою тощую женщину со светлыми, жиденькими и всегда растрёпанными волосами, которая то ласкала его, наполняя ему рот всем, что подвёртывалось под руку: луком, куском пирога, селёдкой,

хлебом, – то вдруг, ни с того ни с сего, накидывалась, начинала кричать и в то же время принималась шлёпать его чем ни попало и куда ни попали. Петя тем не менее часто вспоминал мать.

Он, конечно, не знал подробностей домашней обстановки. Не знал он, что мама его была ни больше ни меньше, как крайне взбалмошная, хотя и добрая чухонка, переходившая из дома в дом в качестве кухарки и отовсюду гонимая, отчасти за излишнюю слабость сердца и постоянные романтические приключения, отчасти за неряшливое обращение с посудой, бившейся у неё в руках как бы по собственному капризу.

Раз как-то удалось ей попасть на хорошее место: она и тут не выдержала. Не прошло двух недель, она неожиданно объявила, что выходит замуж за временно-отпускного солдата. Никакие увещания не могли поколебать её решимости. Чухонцы, говорят, вообще упрямы. Но не меньшим упрямством отличался, должно быть, также и жених – даром что был из русских. Побуждения с его стороны были, впрочем, гораздо основательные. Состоя швейцаром при большом доме, он мог уже считать себя некоторым образом человеком осёдлым, определённым. Помещение под лестницей не отличалось, правда, большим удобством: потолок срезывался углом, так что под возвышенной его частью с трудом мог выпрямиться человек рослый, но люди живут и не в такой тесноте; наконец, квартира даровая, нельзя быть взыскательным.

Размышляя таким образом, швейцар всё ещё как бы не решался, пока не удалось ему случайно купить за очень дешёвую цену самовара на Апраксином дворе. Колебания его при этом начали устанавливаться на более твёрдую почву. Возиться с самоваром, действительно, было как-то не мужским делом; машина, очевидно, требовала другого двигателя; хозяйка как бы сама собою напрашивалась.

Анна (так звали кухарку) имела в глазах швейцара то особенное преимущество, что, во-первых, была ему уже несколько знакома; во-вторых, живя по соседству, через дом, она в значительной степени облегчала переговоры и сокращала, следовательно, время, дорогое каждому служащему.

Предложение было сделано, радостно принято, свадьба сыграна, и Анна переселилась к мужу под лестницу.

Первые два месяца жилось припеваючи. Самовар кипел с утра до вечера, и пар, проходя под косяком двери, клубами валил к потолку. Потом стало как-то ни то ни сё; наконец дело совсем испортилось, когда наступило время родов и затем – хочешь не хочешь – пришлось справлять крестины. Швейцару как бы в первый раз пришла мысль, что он поторопился несколько, связав

себя брачными узами. Быв человеком откровенным, он прямо высказывал свои чувства. Пошли попрёки, брань, завязались ссоры. Кончилось тем, что швейцару отказали от места, ссылаясь на постоянный шум под лестницей и крики новорождённого, беспокоившие жильцов.

Последнее, без сомнения, было несправедливо. Новорождённый явился на свет таким тщедушным, таким изнурённым, что мало даже подавал надежд прожить до следующего дня: если б не соотечественница Анны, прачка Варвара, которая, как только родился ребёнок, поспешила поднять его на руки и трясла его до тех пор, пока он не крикнул и не заплакал, – новорождённый действительно мог бы оправдать предсказанье. К этому надо прибавить, что воздух под лестницей не имел в самом деле настолько целебных свойств, чтобы в один день восстановить силы ребёнка и развить его лёгкие до такой уже степени, что крик его мог кого-нибудь обеспокоить. Вернее всего дело заключалось в желании удалить беспокойных родителей.

Месяц спустя швейцара потребовали в казармы; в тот же вечер всем стало известно, что его вместе с полком отправляют в поход.

Перед разлукой супруги снова сблизились; на проводах много было пролито слёз и ещё больше пива.

Но ушёл муж – и снова начались мытарства по отысканию места. Теперь только труднее было: с ребёнком Анну никто почти не хотел брать. Так с горем пополам протянулся год.

Анну вызвали однажды в казармы, объявили, что муж убит, и выдали ей вдовий паспорт.

Обстоятельства её, как каждый легко себе представит, нисколько от этого не улучшились. Выпадали дни, когда не на что было купить селёдки и куска хлеба для себя и для мальчика; если б не добрые люди, совавшие иногда ломоть или картошку, мальчик наверное бы зачах и преждевременно умер от истощения. Судьба наконец сжалилась над Анной. Благодаря участию соотечественницы Варвары она поступила прачкой к хозяевам пробочной фабрики, помещавшейся на Чёрной речке.

Здесь действительно можно было вздохнуть свободнее. Здесь мальчик никому не мешал; он мог всюду следовать за матерью и цепляться за её подол сколько было душе угодно.

Особенно хорошо было летом, когда под вечер деятельность фабрики останавливалась, шум умолкал, рабочий люд расходился, оставались только женщины, служившие у хозяев. Утомлённые работой и дневным жаром, женщины спускались на плот, усаживались по скамейкам, и начиналась на досуге

нескончаемая болтовня, приправляемая прибаутками и смехом.

В увлечении беседы редкая из присутствующих замечала, как прибрежные вётлы постепенно окутывались тенью и в то же время всё ярче и ярче разгорался закат; как нежданно вырывался из-за угла соседней дачи косой луч солнца; как внезапно охваченные им макушки вётел и края заборов отражались вместе с облаком в уснувшей воде и как, одновременно с этим, над водою и в тёплом воздухе появлялись беспокойно движущиеся сверху вниз полчища комаров, обещавшие такую же хорошую погоду и на завтрашний день.

Время это было бесспорно лучшим в жизни мальчика – тогда ещё не гуттаперчевого, но обыкновенного, какими бывают все мальчики. Сколько раз потом рассказывал он о Чёрной речке клоуну Эдвардсу. Но Петя говорил скоро и с увлеченьем; Эдвардс едва понимал по-русски; отсюда выходил всегда целый ряд недоразумений. Думая, что мальчик рассказывает ему о каком-то волшебном сне, и не зная, что отвечать ему, Эдвардс ограничивался тем обыкновенно, что ласково проводил ему ладонью по волосам снизу вверх и добродушно посмеивался.

И так Анне жилось изрядно, но прошёл год, другой, и вдруг, совершенно опять неожиданно, объявила она, что выходит замуж. «Как? Что? За кого?..» – послышалось с разных сторон. На этот раз жених оказался подмастерьем из портных. Каким образом, где сделано было знакомство, – никто не знал. Все окончательно только ахнули, увидев жениха – человека ростом с напёрсток, съёженного, с лицом жёлтым, как испечённая луковица, притом ещё прихрамывающего на левую ногу, – ну, словом, как говорится, совершенного михрютку.

Никто решительно ничего не понимал. Всех меньше, конечно, мог понять Петя. Он горько плакал, когда его уводили с Чёрной речки, и ещё громче зарыдал на свадьбе матери, когда в конце пирушки один из гостей ухватил вотчима за галстук и начал душить его, между тем как мать с криком бросилась разнимать их.

Не прошло нескольких дней, и наступила уже очередь Анны пожалеть о торопливости связать себя брачными узами. Но дело было сделано; каяться было поздно. Портной проводил день в мастерской; к вечеру только возвращался он в свою каморку, сопровождаемый всегда приятелями, в числе которых лучшим другом был тот, который собирался задушить его на свадьбе. Каждый приносил поочерёдно водки, и начиналась попойка, оканчивавшаяся обыкновенно свалкой. Тут доставалось всегда Анне, попадало также мимоходом на долю мальчика. Сущая была каторга! Худшим для Анны было то, что муж почему-то

невзлюбил Петю; он косил на него с первого дня; при каждом случае он изловчался зацепить его и, как только напивался, грозил утопить его в проруби.

Так как портной пропадал по нескольку дней сряду, деньги все пропивались и не на что было купить хлеба, Анна, для прокормления себя и ребёнка, ходила на подённую работу. На это время поручала она мальчика старушке, жившей в одном с нею доме; летом старуха продавала яблоки, зимою торговала на Сенной варёным картофелем, тщательно прикрывая чугунный горшок тряпкой и усаживаясь на нём с большим удобством, когда на дворе было слишком холодно. Она всюду таскала Петю, который полюбил её и называл бабушкой.

По прошествии нескольких месяцев муж Анны совсем пропал; одни говорили – видели его в Кронштадте; другие уверяли, что он тайно обменял паспорт и переселился на жительство в Шлиссельбург, или «Шлюшино», как чаще выражались.

Вместо того чтобы свободнее вздохнуть, Анна окончательно тогда замоталась. Она сделалась какою-то шальною, лицо её осунулось, в глазах явилось беспокойство, грудь впала, сама она страшно исхудала; к жалкому её виду надо ещё то прибавить, что вся она обносилась; нечего было ни надевать, ни закладывать; её покрывали одни лохмотья. Наконец, однажды и она вдруг исчезла. Случайно дознались, что полиция подняла её на улице в обессиленном от голода состоянии. Её свезли в больницу. Соотечественница её, прачка Варвара, навестив её раз, сообщила знакомым, что Анна перестала узнавать знакомых и не сегодня-завтра отдаст Богу душу.

Так и случилось.

В числе воспоминаний Пети остался также день похорон матери. В последнее время он мало с ней виделся и потому отвык несколько: он жалел её, однако ж, и плакал, – хотя, надо сказать, больше плакал от холода. Было суровое январское утро; с низменного пасмурного неба сыпался мелкий сухой снег; подгоняемый порывами ветра, он колол лицо, как иголками, и волнами убегал по мёрзлой дороге.

Петя, следуя за гробом между бабушкой и прачкой Варварой, чувствовал, как нестерпимо щемят пальцы на руках и на ногах; ему, между прочим, и без того было трудно поспевать за спутницами; одежда на нём случайно была подобрана: случайны были сапоги, в которых ноги его болтались свободно, как в лодках; случайным был кафтанишко, которого нельзя было бы надеть – если б не подняли ему фалды и не приткнули их за пояс; случайной была шапка, выпрошенная у дворника; она поминутно сползала на глаза и мешала Пете видеть дорогу. Ознакомясь

потом близко с усталостью ног и спины, он всё-таки помнил, как уходился тогда, провожая покойницу.

На обратном пути с кладбища бабушка и Варвара долго толковали о том, куда теперь деть мальчика. Он, конечно, солдатский сын, и надо сделать ему определенье по закону, куда следует, но как это сделать? К кому надо обратиться? Кто, наконец, станет бегать и хлопотать? На это могли утвердительно ответить только досужие и притом практические люди. Мальчик продолжал жить, треплясь по разным углам и старухам. И неизвестно, чем бы разрешилась судьба мальчика, если б снова не вступилась прачка Варвара.

III

Заглядывая к «бабушке» и встречая у неё мальчика, Варвара брала его иногда на несколько дней к себе.

Жила она на Моховой улице в подвальном этаже, на втором дворе большого дома. На том же дворе, только выше, помещалось несколько человек из труппы соседнего цирка; они занимали ряд комнат, соединявшихся тёмным боковым коридором. Варвара знала всех очень хорошо, так как постоянно стирала у них бельё. Подымаясь к ним, она часто таскала с собою Петю. Всем была известна его история: все знали, что он круглый сирота, без роду и племени. В разговорах Варвара не раз выражала мысль, что вот бы хорошо было, кабы кто-нибудь из господ сжалился и взял сироту в обученье. Никто, однако, не решался; всем, по-видимому, довольно было своих забот. Одно только лицо не говорило ни да ни нет. По временам лицо это пристально даже посматривало на мальчика. Это был акробат Беккер.

Надо полагать, между ним и Варварой велись одновременно какие-нибудь тайные и более ясные переговоры по этому предмету, потому что однажды, подкараулив, когда все господа ушли на репетицию и в квартире оставался только Беккер, Варвара спешно повела Петю наверх и прямо вошла с ним в комнату акробата.

Беккер точно поджидал кого-то. Он сидел на стуле, покуривая из фарфоровой трубки с выгнутым чубуком, увешанным кисточками; на голове его красовалась плоская, шитая бисером шапочка, сдвинутая набок; на столе перед ним стояли три бутылки пива – две пустые, одна только что начатая.

Раздутое лицо акробата и его шея, толстая, как у быка, были красны; самоуверенный вид и осанка не оставляли сомнения, что Беккер даже здесь, у себя дома, был весь исполнен сознанием

своей красоты. Товарищи, очевидно, трунили над ним только из зависти!

По привычке охорашиваться перед публикой он принял позу даже при виде прачки.

– Ну вот, Карл Богданович… вот мальчик!.. – проговорила Варвара, выдвигая вперёд Петю.

Надо заметить, весь разговор происходил на странном каком-то языке. Варвара коверкала слова, произнося их на чухонский лад; Беккер скорее мычал, чем говорил, отыскивая русские слова, выходившие у него не то немецкими, не то совершенно неизвестного происхождения.

Тем не менее они понимали друг друга.

– Хорошо, – произнёс акробат, – но я так не можно; надо раздевать малшик…

Петя до сих пор стоял неподвижно, робко поглядывая на Беккера; с последним словом он откинулся назад и крепко ухватился за юбку прачки. Но когда Беккер повторил своё требование и Варвара, повернув мальчика к себе лицом, принялась раздевать его, Петя судорожно ухватился за неё руками, начал кричать и биться, как цыплёнок под ножом повара.

– Чего ты? Экой, право, глупенький! Чего испугался? Разденься, батюшка, разденься… ничего… смотри ты, глупый какой! – повторяла прачка, стараясь раскрыть пальцы мальчика и в то же время спешно расстёгивая пуговицы на его панталонах.

Но мальчик решительно не давался: объятый почему-то страхом, он вертелся, как вьюн, корчился, тянулся к полу, наполняя всю квартиру криками.

Карл Богданович потерял терпенье. Положив на стол трубку, он подошёл к мальчику и, не обращая внимания на то, что тот стал ещё сильнее барахтаться, быстро обхватил его руками. Петя не успел очнуться, как уже почувствовал себя крепко сжатым между толстыми коленами акробата. Последний в один миг снял с него рубашку и панталоны; после этого он поднял его, как соломинку, и, уложив голого поперёк колен, принялся ощупывать ему грудь и бока, нажимая большим пальцем на те места, которые казались ему не сразу удовлетворительными, и посылая шлепок всякий раз, как мальчик корчился, мешая ему продолжать операцию.

Прачке было жаль Пети: Карл Богданович очень уж что-то сильно нажимал и тискал, но с другой стороны, она боялась вступиться, так как сама привела мальчика и акробат обещал взять его на воспитанье в случае, когда он окажется пригодным. Стоя перед мальчиком, она торопливо утирала ему слёзы, уговаривая не бояться, убеждая, что Карл Богданович ничего

худого не сделает – только посмотрит!..

Но когда акробат неожиданно поставил мальчика на колена, повернул его к себе спиною и начал выгибать ему назад плечи, снова надавливая пальцами между лопатками, когда голая худенькая грудь ребёнка вдруг выпучилась ребром вперёд, голова его опрокинулась назад и весь он как бы замер от боли и ужаса, – Варвара не могла уже выдержать; она бросилась отнимать его. Прежде, однако ж, чем успела она это сделать, Беккер передал ей Петю, который тотчас же очнулся и только продолжал дрожать, захлёбываясь от слёз.

– Полно, батюшка, полно! Видишь, ничего с тобою не сделали!.. Карл Богданович хотел только поглядеть тебя… – повторяла прачка, стараясь всячески обласкать ребёнка.

Она взглянула украдкой на Беккера; тот кивнул головою и налил новый стакан пива.

Два дня спустя прачке надо уже было пустить в дело хитрость, когда пришлось окончательно передавать мальчика Беккеру. Тут не подействовали ни новые ситцевые рубашки, купленные Варварой на собственные деньги, ни мятные пряники, не убеждения, ни ласки. Петя боялся кричать, так как передача происходила в знакомой нам комнате: он крепко припадал заплаканным лицом к подолу прачки и отчаянно, как потерянный, цеплялся за её руки каждый раз, когда она делала шаг к дверям с тем, чтобы оставить его одного с Карлом Богдановичем.

Наконец всё это надоело акробату. Он ухватил мальчика за ворот, оторвал его от юбки Варвары и, как только дверь за нею захлопнулась, поставил его перед собою и велел ему смотреть себе прямо в глаза.

Петя продолжал трястись, как в лихорадке; черты его худенького, болезненного лица как-то съёживались; в них проступало что-то жалобное, хилое, как у старичка.

Беккер взял его за подбородок, повернул к себе лицом и повторил приказание.

– Ну, малшик, слуш, – сказал он, грозя указательным пальцем перед носом Пети, – когда ты хочу там… (он указал на дверь), – то будет тут!! (он указал несколько ниже спины), – und fest! und fest![1] – добавил он, выпуская его из рук и допивая оставшееся пиво.

В то же утро он повёл его в цирк. Там всё суетилось и торопливо укладывалось.

На другой день труппа со всем своим багажом, людьми и лошадьми перекочёвывала на летний сезон в Ригу.

В первую минуту новость и разнообразие впечатлений скорее

пугали Петю, чем пробуждали в нём любопытство. Он забился в угол и, как дикий зверёк, глядел оттуда, как мимо него бегали, перетаскивая неведомые ему предметы. Кое-кому бросилась в глаза белокурая головка незнакомого мальчика, но до того ли было! И все проходили мимо.

Последнее это обстоятельство несколько ободрило Петю; наметив глазами тот или другой угол, он уловлял минуту, когда подле никого не было, и скоро-скоро перебегал к намеченному месту.

Так постепенно достиг он конюшен. Батюшки, сколько было там лошадей. Спины их, лоснясь при свете газа, вытягивались рядами, терявшимися в сгущённой мгле, наполнявшей глубину конюшенных сводов; Петю особенно поразил вид нескольких лошадок, таких же почти маленьких, как он сам.

Все эти впечатления были так сильны, что ночью он несколько раз вскрикивал и просыпался, но, не слыша подле себя ничего, кроме густого храпенья своего хозяина, он снова засыпал.

В течение десяти дней, как труппа переезжала в Ригу, Петя был предоставлен самому себе. В вагоне его окружали теперь не совсем уже чужие люди; ко многим из них он успел присмотреться; многие были веселы, шутили, пели песни и не внушали ему страха. Нашлись даже такие, как клоун Эдвардс, который мимоходом всегда трепал его по щеке; раз даже одна из женщин дала ему ломтик апельсина. Словом, он начал понемногу привыкать, и было бы ему даже хорошо, если б взял его к себе кто-нибудь другой, только не Карл Богданович. К нему никак он не мог привыкнуть; при нём Петя мгновенно умолкал, весь как-то съёживался и думал о том только, как бы не заплакать.

Особенно тяжело стало ему, когда началось ученье. После первых опытов Беккер убедился, что не ошибся в мальчике; Петя был лёгок, как пух, и гибок в суставах; недоставало, конечно, силы в мускулах, чтобы управлять этими природными качествами, но беды в этом ещё не было. Беккер не сомневался, что сила приобретётся от упражнений. Он мог отчасти даже теперь убедиться в этом на питомце. Месяц спустя после того, как он каждое утро и вечер, посадив мальчика на пол, заставлял его пригибаться головою к ногам, Петя мог исполнять такой манёвр уже сам по себе, без помощи наставника. Несравненно труднее было ему перегибаться назад и касаться пятками затылка: мало-помалу он, однако ж, и к этому стал привыкать. Он ловко также начинал прыгать с разбегу через стул; но только, когда после прыжка Беккер требовал, чтобы воспитанник, перескочив на другую сторону стула, падал не на ноги, а на руки, оставляя ноги в воздухе, – последнее редко удавалось; Петя летел кувырком,

падал на лицо или на голову, рискуя свихнуть себе шею.

Неудача или ушиб составляли, впрочем, половину горя; другая половина, более веская, заключалась в тузах, которыми всякий раз наделял его Беккер, забывавший, что упражнениями такого рода он скорее мог содействовать к развитию собственных мускулов, которые и без того были у него в надёжном порядке.

Мускулы мальчика оставались по-прежнему тощими. Они, очевидно, требовали усиленного подкрепления.

В комнату, занимаемую Беккером, принесена была двойная раздвижная лестница; поперёк её перекладин, на некоторой высоте от пола, укладывалась горизонтально палка. По команде Беккера Петя должен был с разбегу ухватиться руками за палку и затем оставаться таким образом на весу, сначала пять минут, потом десять, – и так каждый день по нескольку приёмов. Разнообразие состояло в том, что иногда приходилось просто держать себя на весу, а иногда, придерживаясь руками к палке, следовало опрокидываться назад всем туловищем и пропускать ноги между палкой и головою. Цель упражнения состояла в том, чтобы прицепиться концами носков к палке, неожиданно выпустить руки и оставаться висящим на одних носках. Трудность главным образом заключалась в том, чтобы в то время, как ноги были наверху, а голова внизу, – лицо должно было сохранять самое приятное, смеющееся выражение; последнее делалось в видах хорошего впечатления на публику, которая ни под каким видом не должна была подозревать трудности при напряжении мускулов, боли в суставах плеч и судорожного сжимания в груди.

Достижение таких результатов сопровождалось часто таким раздирающим детским визгом, такими криками, что товарищи Беккера врывались в его комнату и отнимали из рук его мальчика.

Начиналась брань и ссора, – после чего Пете приходилось иногда ещё хуже. Иногда, впрочем, такое постороннее вмешательство оканчивалось более миролюбивым образом.

Так было, когда приходил клоун Эдвардс. Он обыкновенно улаживал дело закуской и пивом. В следовавшей затем товарищеской беседе Эдвардс старался всякий раз доказать, что метод обучения Беккера никуда не годится, что страхом и побоями ничего не возьмёшь не только с детьми, но даже при обучении собак и обезьян; что страх внушает несомненно робость, а робость – первый враг гимнаста, потому что отымает у него уверенность и удаль; без них можно только вытянуть себе сухие жилы, сломать шею или перебить позвонки на спине.

В пример приводился часто акробат Ризлей, который так напугал собственных детей перед представленьем, что, когда

пришлось подбросить их ногами на воздух, – дети раза два перекувырнулись в пространстве, да тут же прямёхонько и шлёпнулись на пол.

– Бросились подымать, – подхватывал Эдвардс, делая выразительные жесты, – подняли, глядь, оба fertig![2] готовы! У обоих дух вон! Дурак Ризлей потом застрелился с горя, – да что ж из этого? Детей своих всё-таки не воскресил: fertig! fertig!..

И странное дело: каждый раз как Эдвардс, разгорячённый беседой и пивом, принимался тут же показывать, как надо делать ту или другую штуку, Петя исполнял упражнение с большей ловкостью и охотой.

В труппе все уже знали воспитанника Беккера. В последнее время он добыл ему из гардероба костюм клоуна и, набеливая ему лицо, нашлёпывая румянами два клякса на щеках, выводил его во время представленья на арену; иногда, для пробы, Беккер неожиданно подымал ему ноги, заставляя его пробежать на руках по песку. Петя напрягал тогда все свои силы, но часто они изменяли ему; пробежав на руках некоторое пространство, он вдруг ослабевал в плечах и тыкался головою в песок – чем пробуждал всегда весёлый смех в зрителях.

Под руководством Эдвардса он сделал бы, без сомнения, больше успехов; в руках Беккера дальнейшее развитие очевидно замедлялось. Петя продолжал бояться своего наставника, как в первый день. К этому начинало примешиваться другое чувство, которого не мог он истолковать, но которое постепенно росло в нём, стесняло ему мысли и чувства, заставляя горько плакать по ночам, когда, лёжа на тюфячке, прислушивался он к храпенью акробата.

И ничего, ничего Беккер не делал, чтобы сколько-нибудь привязать к себе мальчика. Даже в тех случаях, когда мальчику удавалась какая-нибудь штука, Беккер никогда не обращался к нему с ласковым словом; он ограничивался тем, что снисходительно поглядывал на него с высоты своего громадного туловища.

Прожив с Петей несколько месяцев, он точно взял его накануне. Завиваясь тщательно каждый день у парикмахера цирка, Беккеру, по-видимому, всё равно было, что из двух рубашек, подаренных мальчику прачкой Варварой, – оставались лохмотья, что бельё на теле мальчика носилось иногда без перемены по две недели, что шея его и уши были не вымыты, а сапожишки просили каши и черпали уличную грязь и воду. Товарищи акробата, и более других Эдуардс, часто укоряли его в том; в ответ Беккер нетерпеливо посвистывал и щёлкал хлыстиком по панталонам.

Он не переставал учить Петю, продолжая наказывать каждый раз, как выходило что-нибудь неладно. Он хуже этого делал.

Раз, по возвращении труппы уже в Петербург, Эдвардс подарил Пете щенка. Мальчик был в восторге; он носился с подарком по конюшне и коридорам, всем его показывал и то и дело учащённо целовал его в мокрую розовую мордочку.

Беккер, раздосадованный во время представленья тем, что его публика не вызвала, возвращался во внутренний коридор; увидев щенка в руках Пети, он вырвал его и носком башмака бросил в сторону; щенок ударился головкой в соседнюю стену и тут же упал, вытянув лапки.

Петя зарыдал и бросился к Эдвардсу, выходившему в эту минуту из уборной.

Беккер, раздражённый окончательно тем, что вокруг послышалась брань, одним движеньем оттолкнул Петю от Эдвардса и дал ему с размаху пощёчину.

– Schwein![3] Швынья!.. тьфу!.. – сказал Эдвардс, отплёвываясь с негодованием.

Но что уж дальше рассказывать!

Несмотря на лёгкость и гибкость, Петя был, как мы сказали выше, не столько гуттаперчевым, сколько несчастным мальчиком.

IV

Детские комнаты в доме графа Листомирова располагались на южную сторону и выходили в сад. Чудное было помещение! Каждый раз, как солнце было на небе, лучи его с утра до заката проходили в окна; в нижней только части окна завешивались голубыми тафтяными занавесками для предохранения детского зрения от излишнего света. С тою же целью по всем комнатам разостлан был ковёр также голубого цвета и стены оклеены были не слишком светлыми обоями.

В одной из комнат вся нижняя часть стен была буквально заставлена игрушками; они группировались тем разнообразнее и живописнее, что у каждого из детей было своё особое отделение.

Пёстрые английские раскрашенные тетрадки и книжки, кроватки с куклами, картинки, комоды, маленькие кухни, фарфоровые сервизы, овечки и собачки на катушках – обозначали владения девочек; столы с оловянными солдатами, картонная тройка серых коней, с глазами страшно выпученными, увешанная бубенчиками и запряжённая в коляску, большой белый козёл, казак верхом, *барабан* и медная труба, звуки которой приводили всегда в отчаяние англичанку мисс Блике, – обозначали владения

мужского пола. Комната эта так и называлась «игральной».

Рядом была учебная; дальше спальная, окна которой всегда были закрыты занавесами, приподнимавшимися там только, где вертелась вентиляционная звезда, очищавшая воздух. Из неё, не подвергая себя резкой перемене воздуха, можно было прямо пройти в уборную, выстланную также ковром, но обшитую в нижней её части клеёнкой: с одной стороны находился большой умывальный мраморный стол, уставленный крупным английским фаянсом; дальше блистали белизною две ванны с медными кранами, изображавшими лебединые головки; подле возвышалась голландская печь с изразцовым шкапом, постоянно наполненным согревающимися полотенцами. Ближе, по клеёнчатой стене, висел на тесёмках целый ряд маленьких и крупных губок, которыми мисс Блике каждое утро и вечер обмывала с головы до ног детей, наводя красноту на их нежное тело.

В среду, на Масленице, в игральной комнате было особенно весело. Её наполняли восторженные детские крики. Мудрёного нет; вот что было здесь между прочим сказано: «Деточки, вы с самого начала Масленицы были послушны и милы; сегодня у нас среда, если вы будете так продолжать, – вас в пятницу вечером возьмут в цирк!»

Слова эти были произнесены тётей Соней, сестрой графини Листомировой, – девушкой лет тридцати пяти, сильной брюнеткой, с пробивающимися усиками, но прекрасными восточными глазами, необыкновенной доброты и мягкости; она постоянно носила чёрное платье, думая этим хоть сколько-нибудь скрыть полноту, начинавшую ей надоедать. Тётя Соня жила у сестры и посвятила жизнь её детям, которых любила всем запасом чувств, не имевших случая израсходоваться и накопившихся с избытком в её сердце.

Не успела она проговорить своё обещанье, как дети, слушавшие сначала очень внимательно, бросились со всех ног осаждать её; кто цеплялся за её платье, кто усиливался влезть на её колена, кто успел обхватить её шею и осыпал лицо поцелуями; осада сопровождалась такими шумными овациями, такими криками радости, что мисс Бликс вошла в одну дверь, в другую вбежала молодая швейцарка, приглашённая в дом как учительница музыки для старшей дочери; за ними показалась кормилица, державшая новорождённого, укутанного в одеяло с ниспадавшими до полу кружевными обшивками.

– What is going on here?..[4] – удивлённо осведомилась мисс Бликс.

Она представляла из себя чопорную высокую даму с непомерно выдающеюся грудью, красными щеками, как бы

закапанными сургучом, и красною шеей свекловичного оттенка.

Тётя Соня объяснила вошедшим причину радости.

Раздались опять возгласы, опять крики, сопровождаемые прыжками, пируэтами и другими более или менее выразительными изъявлениями радости. В этом порыве детской весёлости всех больше удивил Паф – пятилетний мальчик, единственная мужская отрасль фамилии Листомировых; мальчик был всегда таким тяжёлым и апатическим, но тут, под впечатлением рассказов и того, что его ожидало в цирке, – он вдруг бросился на четвереньки, поднял левую ногу и, страшно закручивая язык на щёку, поглядывая на присутствующих своими киргизскими глазками, – принялся изображать клоуна.

– Мисс Бликс! Подымите его, подымите скорее, – ему кровь бросится в голову! – проговорила тётя Соня.

Новые крики, новое скаканье вокруг Пафа, который ни за что не хотел вставать и упорно подымал то одну ногу, то другую.

– Дети, дети… довольно! Вы, кажется, не хотите больше быть умными… Не хотите слушать, – говорила тётя Соня, досадовавшая главным образом за то, что не умела сердиться. Ну, не могла она этого сделать – не могла решительно!

Она обожала «своих детей», как сама выражалась. Действительно, надо сказать, дети были очень милы.

Старшей девочке, Верочке, было уже восемь лет; за нею шла шестилетняя Зина, мальчику было, как сказано, – пять. Его окрестили Павлом, но мальчик получал одно за другим различные прозвища: Бёби, Пузырь, Бутуз, Булка и, наконец, Паф – имя, которое так и осталось. Мальчик был пухлый, коротенький, с рыхлым белым телом, как сметана, крайне флегматического, невозмутимого нрава, с шарообразною головою и круглым лицом, на котором единственною заметною чертою были маленькие киргизские глазки, раскрывавшиеся вполне, когда подавалось кушанье или говорилось о еде. Глазки, смотревшие вообще сонливо, проявляли также оживленье и беспокойство по утрам и вечером, когда мисс Бликс брала Пафа за руку, уводила его в уборную, раздевала его донага и, поставив на клеёнку, принималась энергически его мыть огромной губкой, обильно напитанной водою; когда мисс Бликс при окончании такой операции возлагала губку на голову мальчика и, крепко нажав губку, пускала струи воды по телу, превращавшемуся тотчас же из белого в розовое, – глазки Пафа не только суживались, но пропускали потоки слёз, и вместе с тем раздавался из груди его тоненький-тоненький писк, не имевший ничего раздражённого, но походивший скорее на писк кукол, которых заставляют кричать, нажимая им живот. Этим невинным писком, впрочем, всё

и оканчивалось. С исчезновением губки Паф умолкал мгновенно, и уже потом мисс Бликс могла обтирать его сколько угодно согретым шершавым полотенцем, могла завёртывать ему голову, могла мять и теребить его, – Паф выказывал так же мало сопротивления, как кусок сдобного теста в руках пекаря. Он часто даже засыпал между тёплыми шершавыми полотенцами, прежде чем мисс Бликс успевала уложить его в постель, обтянутую вокруг сеткой и завешенную кисейным пологом с голубым бантом на маковке.

Нельзя сказать, чтобы мальчик этот был особенно интересен; но нельзя было не остановиться на нём, так как он представлял теперь единственную мужскую отрасль фамилии графов Листомировых и, как справедливо иногда замечал его отец, задумчиво глядя вдаль и меланхолически свешивая голову набок: «Мог – кто знает? – мог играть в будущем видную роль в отечестве?!»

Предрешать будущее вообще трудно, но, как бы там ни было, с той минуты, как обещано было представленье в цирке, старшая дочь, Верочка, вся превратилась во внимание и зорко следила за поведением сестры и брата.

Едва-едва начинался между ними признак разлада – она быстро к ним подбегала, оглядываясь в то же время на величавую мисс Бликс, принималась скоро-скоро шептать что-то Зизи и Пафу, и, поочередно целуя то того, то другую, успевала всегда водворить между ними мир и согласие.

Эта Верочка была во всех отношениях прелестная девочка: тоненькая, нежная и вместе с тем свежая, как только что снесённое яичко, с голубыми жилками на висках и шее, с лёгким румянцем на щеках и большими серо-голубыми глазами, смотревшими из-под длинных ресниц как-то всегда прямо, не по летам внимательно; но лучшим украшением Верочки были её волосы пепельного цвета, мягкие, как тончайший шёлк, и такие густые, что мисс Бликс долго билась по утрам, прежде чем могла привести их в должный порядок. Паф мог, конечно, быть любимцем отца и матери, как будущий единственный представитель именитого рода, – но Верочка, можно сказать, была любимицей всех родных, знакомых и даже прислуги; помимо её миловидности, её любили за необыкновенную кротость нрава, редкое отсутствие капризов, приветливость, доброту и какую-то особенную чуткость и понятливость. Ещё четырёх лет она с самым серьёзным видом входила в гостиную и, сколько бы ни было посторонних лиц, прямо и весело шла к каждому, давала руку и подставляла щёку. К ней даже особенно как-то относились, чем к другим детям. Вопреки давно принятому

обычаю в семье графов Листомировых давать различные сокращённые и более или менее фантастические прозвища детям, Верочку иначе не называли, как её настоящим именем. Верочка была – Верочкой и осталась.

Что говорить, у неё, как у всякого смертного, были свои слабости, вернее, была одна слабость, но и она как бы скорее служила гармоническим дополнением её характеру и наружности. Слабость Верочки, заключавшаяся в сочинении басен и сказок, проявилась первый раз, как ей минул шестой год. Войдя однажды в гостиную, она при всех неожиданно объявила, что сочинила маленькую басню, и тут же, нимало не смущаясь, с самым убеждённым видом принялась рассказывать историю про волка и мальчика, делая очевидные усилия, чтобы некоторые слова выходили в рифму. С тех пор одна басня сменяла другую, и несмотря на запрещение графа и графини возбуждать рассказами сказок воображение и без того уже впечатлительной и нервной девочки, Верочка продолжала делать свои импровизации. Мисс Бликс не раз должна была ночью приподыматься с постели, заслышав какой-то странный шёпот, исходивший из-под кисейного полога над постелью Верочки. Убедившись, что девочка, вместо того чтоб спать, произносит какие-то непонятные слова, англичанка делала ей строгий выговор, приказывая заснуть немедленно, – приказание, которое Верочка тотчас же исполняла со свойственной ей кротостью.

Словом, это была та самая Верочка, которая, вбежав как-то в гостиную и застав там сидевшего с матерью известного нашего поэта Тютчева, ни за что не хотела согласиться, что седой этот старичок мог сочинять стихи; напрасно уверяли мать и сам Тютчев – Верочка стояла на своём; поглядывая недоверчиво на старика своими большими голубыми глазами, она повторяла:

– Нет, мама, это не может быть!..

Заметив наконец, что мать начинает сердиться, Верочка взглянула ей робко в лицо и проговорила сквозь слёзы:

– Я думала, мама, что стихи сочиняют только ангелы…

С самой среды, когда обещано было представленье в цирке, до четверга благодаря нежной заботливости Верочки, её уменью развлекать сестру и брата оба вели себя самым примерным образом. Особенно трудно было справиться с Зизи – девочкой болезненной, заморенной лекарствами, в числе которых тресковый жир играл видную роль и служил всегда поводом к истерическим рыданьям и капризам.

В четверг на Масленице тётя Соня вошла в игральную комнату. Она объявила, что, так как дети были умны, она проездом в город желает купить им игрушек.

Радостные восклицания и звонкие поцелуи опять наполнили комнату. Паф также оживился и заморгал своими киргизскими глазками.

– Ну, хорошо, хорошо, – сказала тётя Соня, – всё будет по-вашему, тебе, Верочка, рабочий ящик, – ты знаешь, папа и мама не позволяют тебе читать книг; тебе, Зизи, куклу…

– Которая бы кричала! – воскликнула Зизи.

– Которая бы кричала! – повторила тетя Соня, – ну, а тебе, Паф, тебе что? Что ты хочешь?.. – Паф задумался. – Ну, говори же, что тебе купить?..

– Купи… купи собачку – только без блох!.. – добавил неожиданно Паф.

Единодушный хохот был ответом на такое желание. Смеялась тётя Соня, смеялась кормилица, смеялась даже чопорная мисс Бликс, обратившаяся, впрочем, тотчас же к Зизи и Верочке, которые начали прыгать вокруг брата и, заливаясь смехом, принялись тормошить будущего представителя фамилии.

После этого все снова повисли на шее доброй тёти и докрасна зацеловали её шею и щёки.

– Ну, довольно, довольно, – с ласковой улыбкой произнесла тётя, – хорошо; я знаю, что вы меня любите, и я люблю вас очень… очень… очень!.. Итак, Паф, я куплю тебе собачку: будь только умён и послушен; она будет без блох!..

V

Наступила, наконец, так нетерпеливо ожидаемая пятница.

За четверть часа до завтрака тётя Соня вошла в «маленькую» столовую, так называемую для отличия её от большой, где давались иногда званые обеды. Ей сказали, что граф и графиня уже прошли туда из своих уборных.

Графиня сидела в больших креслах, придвинутых к столу, заставленному на одном конце серебряным чайным сервизом с шипевшим самоваром. Старый буфетчик, важный, как разжиревший банкир, но с кошачьими приёмами утончённого дипломата, тихо похаживал вокруг стола, поглядывая, всё ли на нём в порядке. Два других лакея, похожие на членов английского парламента, вносили блюда, прикрытые серебряными крышками.

Граф задумчиво прогуливался в отдалении подле окон.

– Хорошо ли мы, однако, делаем, что посылаем детей в цирк? – произнесла графиня, обращаясь после первых приветствий к тёте Соне и в то же время украдкою поглядывая на мужа.

– Отчего же? – весело возразила тётя, усаживаясь подле самовара, – я смотрела афишку: сегодня не будет выстрелов, ничего такого, что бы могло испугать детей, – наши детки были, право, так милы… Нельзя же их не побаловать! К тому же удовольствие это было им обещано.

– Всё это так, – заметила графиня, снова поглядывая на мужа, который подошёл в эту минуту к столу и занял обычное своё место, – но я всегда боюсь этих зрелищ… Наши дети особенно так нервны, так впечатлительны…

Последнее замечание сопровождалось новым взглядом, направленным на графа. Графине, очевидно, хотелось знать мнение мужа, чтобы потом не вышло привычного заключения, что всё в доме творится без его совета и ведома.

Но граф и тут ничего не сказал.

Он вообще не любил терять праздных слов. Он принадлежал скорее к числу лиц думающих, мыслящих, – хотя, надо сказать, трудно было сделать заключение о точном характере его мыслей, так как он больше ограничивался намёками на различные идеи, чем на их развитие. При малейшем противоречии граф чаще всего останавливался даже на полумысли и как бы говорил самому себе: «Не стоит!» Он обыкновенно отходил в сторону, нервно пощипывая жиденькие усы и погружаясь в грустную задумчивость.

Задумчивое настроение графа согласовалось, впрочем, как нельзя больше с его внешним видом, замечательно длинным-длинным, как бы всегда расслабленным и чем-то недовольным. Он нарочно носил всегда панталоны из самого толстого трико, чтобы хоть сколько-нибудь скрыть худобу ног, – и напрасно это делал; по справедливости ему следовало бы даже гордиться худобою ног, так как она составляла одно из самых характерных, типических родовых отличий всех графов Листомировых.

Наружность графа дополнялась чертами его худощавого бледного лица, с носом, несколько сдвинутым на сторону, и большими дугообразными бровями, усиленно как-то подымавшимися на лбу, странно уходившем между сплюснутыми боками головы, большею частью склонённой набок.

Совершенно несправедливо говорили, будто граф тоскует от бездействия, от недостатка случая выказать свои способности. Случаи эти представлялись чуть ли ещё не в то время, когда ему минуло девятнадцать лет и дядя-посланник открыл перед ним дипломатическую карьеру. В жизни графа случаи блестящей карьеры искусно были расставлены, как вёрсты по шоссейной дороге, – ничего только из этого не вышло.

На первых порах граф принимался как бы действовать и даже

много говорил, но тут же нежданно умолкал и удалялся, очевидно чем-то неудовлетворённый. Мысли ли его были не поняты как следует или действия не оценены по справедливости, – только он переходил от одного счастливого случая к другому, не сделав себе в конце концов, что называется, карьеры, – если не считать, конечно, нескольких звёзд на груди и видного придворного чина.

Несправедливо было также мнение, что граф, всегда тоскующий и молчаливый в свете, был дома крайне взыскательный и даже деспот.

Граф был только аккуратен. Прирождённое это свойство доходило, правда, до педантизма, но, в сущности, было самого невинного характера. Граф требовал, чтобы каждая вещь в доме оставалась неприкосновенною на том месте, где была однажды положена; каждый мельчайший предмет имел свой определённый пункт. Если, например, мундштучок для пахитос, уложенный на столе параллельно с карандашом, отодвигался в сторону, граф тотчас же замечал это, и начинались расспросы: кто переставил? зачем? почему? и т. д.

Целый день ходил он по дому, задумчиво убирая то один предмет, то другой; время от времени прикасался он к электрическому звонку и, подозвав камердинера, молча указывал ему на те места, где, казалось ему, встречался беспорядок. Деспотом граф также не мог быть по той простой причине, что дома молчал столько же, сколько в свете. Даже в деловых семейных разговорах с женою он чаще всего ограничивался тремя словами: «Tu penses? Tu crois? Quelle idee!..»[5] – и только.

С высоты своих длинных ног и тощего длинного туловища граф постоянно смотрел тусклыми глазами в какой-то далёкий туманный горизонт и время от времени вздыхал, усиленно подымая на лбу то одну бровь, то другую, Меланхолия не покидала графа даже в тех случаях, когда главный управляющий над конторой вручал ему в конце каждого месяца значительные денежные суммы. Граф внимательно сосчитывал деньги, нетерпеливо всегда переворачивал бумажку, когда номер был кверху или книзу и не подходил с другими, запирал пачку в ящик, прятал ключ в карман и, приблизившись к окну, пощипывая усики, произносил всегда с грустью: «Ох-хо-хо-хо-хо!!» – после чего начинал снова расхаживать по дому, задумчиво убирая всё, что казалось ему лежащим неправильно.

Граф редко высказывался даже в тех случаях, когда дело касалось важных принципов и убеждений, всосанных, так сказать, с молоком. Не допуская, например, возможности быть за обедом иначе, как во фраке и белом галстуке, даже когда оставался

вдвоём с женою, – и находя это необходимым потому, что это… это всегда поддерживает – именно поддерживает… – но что поддерживает, – это граф никогда не досказывал.

– Tu crois? Tu penses? Quelle idee!.. Этими словами, произносимыми не то вопросительно, не то с пренебрежением, оканчивались обыкновенно все объяснения с женою и тётей Соней. После этого он отходил к окну, глядел в туманную даль и выпускал из груди несколько вздохов, – из чего жена и тётя Соня с огорчённым чувством заключали всегда, что граф не был согласен с их мнением.

Тогда обыкновенно наступала очередь тёти Сони утешать сестру – когда-то весьма красивую, весёлую женщину, но теперь убитую горем после потери четверых детей и страшно истощённую частыми родами, как вообще бывает с жёнами меланхоликов.

На больших булевских часах столовой пробило двенадцать.

С последним ударом граф придвинулся к столу, хотел как будто что-то сказать, но остановился, вздохнул и тоскливо приподнял сначала одну бровь, потом другую.

– Отчего же детей нет? – торопливо спросила графиня, поглядывая на мужа, потом на тётю Соню. – Мисс Бликс знает, что граф любит, чтобы дети всегда завтракали ровно в двенадцать часов; скажите мисс Бликс, что завтрак давно готов! – обратилась она к буфетчику.

Но в эту самую минуту один из лакеев растворил настежь двери, и дети, сопровождаемые англичанкой и швейцаркой, вошли в столовую.

Завтрак прошёл, по обыкновению, очень чинно.

Расслабленные нервы графини не выносили шума. Граф вообще не любил, чтобы дети бросались на шею, громко играли и говорили; сильные изъявления каких бы то ни было чувств пробуждали в нём всегда неприятное ощущение внутреннего стеснения и неловкости.

На этот раз по крайней мере граф мог быть довольным. Зизи и Паф, предупреждённые Верочкой, не произнесли ни слова; Верочка не спускала глаз с сестры и брата; она заботливо предупреждала каждое их движение.

С окончанием завтрака мисс Бликс сочла своею обязанностью заявить графине, что никогда ещё не видала она, чтобы дети вели себя так примерно, как в эти последние дни. Графиня возразила, что она уже слышала об этом от сестры и потому распорядилась, приказав взять к вечеру ложу в цирке.

При этом известии Верочка, так долго крепившаяся, не могла больше владеть собою. Соскочив со стула, она принялась

обнимать графиню с такою силой, что на секунду совершенно заслонила её лицо своими пушистыми волосами; таким же порядком подбежала она к отцу, который тотчас же выпрямился и из предосторожности поспешил отвести левую руку, державшую мундштук с пахитоской. От отца Верочка перебежала к тёте Соне, и тут уже пошли поцелуи без разбору, и в глаза, в щёки, в подбородок, в нос – словом, всюду, где только губы девочки могли встретиться с лицом тётки. Зизи и Паф буквально проделали тот же маневр, но только, надо сказать, – далеко не с таким воодушевлением.

Верочка между тем подошла к роялю, на котором лежали афишки; положив руку на одну из них, она обратила к матери голубые глаза свои и, вся замирая от нетерпения, проговорила нежно вопрошающим голосом:

– Мама… можно?.. Можно взять эту афишку?..

– Можно.

– Зизи! Паф! – восторженно крикнула Верочка, потрясая афишкой, – пойдёмте скорее!.. Я расскажу вам всё, что мы сегодня увидим в цирке: всё расскажу вам!.. Пойдёмте в наши комнаты!..

– Верочка!.. Верочка! – слабо, с укором, проговорила графиня.

Но Верочка уже не слышала; она неслась, преследуемая сестрою и братом, за которыми, пыхтя и отдуваясь, едва поспевала мисс Бликс.

В игральной комнате, освещённой полным солнцем, стало ещё оживлённее.

На низеньком столе, освобождённом от игрушек, разложена была афишка.

Верочка настоятельно потребовала, чтобы все присутствующие: и тётя Соня, и мисс Бликс, и учительница музыки, и кормилица, вошедшая с младенцем, – все решительно уселись вокруг стола. Несравненно труднее было усадить Зизи и Пафа, которые, толкая друг друга, нетерпеливо осаждали Верочку то с одного боку, то с другого, взбирались на табуреты, ложились на стол и влезали локтями чуть не на середину афишки. Наконец с помощью тёти и это уладилось.

Откинув назад пепельные свои волосы, вытянув шею и положив ладони на края афишки, Верочка торжественно приступила к чтению.

– Милая моя, – тихо произнесла тётя Соня, – зачем же ты читаешь нам, в каком цирке, в какой день, какого числа; всё это мы уже знаем; читай лучше дальше: в чём будет заключаться представленье.

– Нет уж, душечка тётя; нет уж, ты только не мешай мне, –

убедительно и с необыкновенною живостью перебила Верочка, – ангельчик тётя, не мешай!.. Уж я всё прочту… всё, всё… что тут напечатано… Ну, слушайте:

– *«Парфорсное упражнение на неосёдланной лошади. Исполнит девица…»* Тётя, что такое парфорсное?

– Это… это… Вероятно, что-нибудь очень интересное… Сегодня сами увидите! – сказала тётя, стараясь выйти из затруднения.

– Ну, хорошо, хорошо… Теперь все слушайте; дальше вот что: *«Эквилибристические упражнения на воздушной трапеции…»* Это, тётя, что же такое трапеция?.. Как это будет? – спросила Верочка, отрываясь от афишки.

– Как будет? – нетерпеливо подхватила Зизи.

– Как? – произнёс в свою очередь Паф, посматривая на тётю киргизскими глазками.

– Зачем же я буду всё это вам рассказывать! Не лучше ли будет, когда сами вы увидите…

Затруднение тёти возрастало; она даже несколько покраснела.

Верочка снова откинула назад волосы, наклонилась к афишке и прочла с особенным жаром:

– *«Гуттаперчевый мальчик. Воздушные упражнения на конце шеста вышиною в шесть аршин!!»* Нет, душечка тётя, это уж ты нам расскажешь!.. это уж расскажешь!.. Какой же это мальчик? Он настоящий? живой?.. Что такое: гуттаперчевый?

– Вероятно, его так называют потому, что он очень гибкий… наконец, вы это увидите…

– Нет, нет, расскажи теперь, расскажи, как это он будет делать на воздухе и на шесте?.. Как это он будет делать?..

– Как будет он делать? – подхватила Зизи.

– Делать? – коротко осведомился Паф, открывая рот.

– Деточки, вы у меня спрашиваете слишком уж много… Я, право, ничего не могу вам объяснить. Сегодня вечером всё это будет перед вашими глазами. Верочка, ты бы продолжала; ну, что ж дальше?..

Но дальнейшее чтение не сопровождалось уже такою живостью; интерес заметно ослаб; он весь сосредоточивался теперь на гуттаперчевом мальчике; гуттаперчевый мальчик сделался предметом разговоров, различных предположений и даже спора.

Зизи и Паф не хотели даже слушать продолжение того, что было дальше на афишке; они оставили свои табуреты и принялись шумно играть, представляя, как будет действовать гуттаперчевый мальчик. Паф снова становился на четвереньки,

подымал, как клоун, левую ногу и, усиленно пригибая язык к щеке, посматривал на всех своими киргизскими глазками – что всякий раз вызывало восклицание у тёти Сони, боявшейся, чтоб кровь не бросилась ему в голову.

Торопливо дочитав афишку, Верочка присоединилась к сестре и брату.

Никогда ещё не было так весело в игральной комнате.

Солнце, склоняясь к крышам соседних флигелей за садом, освещало группу играющих детей, освещало их радостные, весёлые, раскрасневшиеся лица, играло на разбросанных повсюду пёстрых игрушках, скользило по мягкому ковру, наполняло всю комнату мягким, тёплым светом. Всё, казалось, здесь радовалось и ликовало.

Тётя Соня долго не могла оторваться от своего места. Склонив голову на ладонь, она молча, не делая уже никаких замечаний, смотрела на детей, и кроткая, хотя задумчивая улыбка не покидала её доброго лица. Давно уже оставила она мечты о себе самой; давно примирилась с неудачами жизни. И прежние мечты свои, и ум, и сердце – всё это отдала она детям, так весело играющим в этой комнате, и счастлива она была их безмятежным счастьем…

Вдруг показалось ей, как будто в комнате стемнело. Обернувшись к окну, она увидела, что небо заслонилось большой серой тучей и мимо окон полетели пушистые снежные хлопья. Не прошло минуты, из-за снега ничего уже нельзя было видеть; метель ходила по всему саду, скрывая ближайшие деревья.

Первое чувство тёти Сони – было опасение, чтобы погода не помешала исполнить обещания, данного детям. Такое же чувство, вероятно, овладело и Верочкой, потому что она мгновенно подбежала к тёте и, пристально поглядывая ей в глаза, спросила:

– Это ничего, тётя?.. Мы в цирк поедем?..

– Ну, конечно… конечно! – поспешила успокоить тётя, целуя Верочку в голову и обращая глаза к Зизи и Пафу, которые вдруг перестали играть.

Но уже с этой минуты в миловидных чертах Верочки явно стало проступать больше внутреннего беспокойства, чем беззаботной весёлости. Она поминутно заглядывала в окно, переходила из комнаты в другую, расспрашивая у каждого входившего о том, долго ли может продолжаться такая метель и может ли быть, чтобы она не утихла во весь вечер. Каждый раз, как тётя Соня выходила из детских комнат и спустя несколько времени возвращалась назад, она всегда встречалась с голубыми глазами племянницы; глаза эти пытливо, беспокойно допрашивали и как бы говорили ей: «Ты, тётя, ты ничего, я знаю;

а вот что там будет, что папа` и мама` говорят…»

Худенькая Зизи и неповоротливый Паф были гораздо доверчивее: они также высказывали беспокойство, но оно было совсем другого рода. Перебегая от одних часов к другим и часто влезая на стулья, чтобы лучше видеть, они поминутно приставали к тёте и мисс Бликс, упрашивая их показать им, сколько времени на их собственных часах. Каждый входивший встречаем был тем же вопросом:

– Который час?

– Пятый в начале.

– А скоро будет семь?

– Скоро: подождите немножко.

Детский обед прошёл в расспросах о том, какая погода и который час.

Тётя Соня напрасно употребляла все усилия, чтобы дать мыслям детей другое направление и внести сколько-нибудь спокойствия, Зизи и Паф хотя и волновались, но ещё верили; что ж касается Верочки, – известие о том, что метель всё ещё продолжается, заметно усиливало её беспокойство. По голосу тётки, по выражению её лица она ясно видела, что было что-то такое, чего тётя не хотела высказывать.

Все эти тревожные сомнения мигом, однако ж, рассеялись, когда тётя, исчезнувшая снова на четверть часа, возвратилась на детскую половину; с сияющим лицом объявила она, что граф и графиня велели одевать детей и везти их в цирк.

Вихрем всё поднялось и завозилось в знакомой нам комнате, освещённой теперь лампами. Пришлось стращать, что оставят дома тех, кто не будет слушаться и не даст себя как следует закутать.

– Пойдёмте теперь; надо проститься с папа` и мама`, – проговорила тётя, взяв за руку Верочку и пропуская вперёд Зизи и Пафа.

Мисс Бликс и учительница музыки закрывали шествие.

Церемония прощанья не была продолжительна.

Вскоре детей вывели на парадную лестницу, снова внимательно осмотрели и прикутали и, наконец, выпустили на подъезд, перед которым стояла четырёхместная карета, полузанесённая снегом. Лакей величественного вида, с галунами на шляпе и на ливрее, с бакенами à l'anglaise[6], побелевшими от снега, поспешил отворить дверцы. Но главная роль в данном случае предоставлена была, впрочем, старому, седому швейцару; он должен был брать детей на руки и передавать их сидевшим в карете трём дамам; и надо сказать, он исполнил такую обязанность не только с замечательной осторожностью, но даже

выразил при этом трогательное чувство умиленного благоговения.

Дверцы кареты захлопнулись, лакей вскочил на козлы, карета тронулась и тут же почти исчезла посреди метели.

VI

Представление в цирке ещё не начиналось. Но на Масленице любят веселиться, и потому цирк, особенно в верхних ярусах, был набит посетителями. Изящная публика, по обыкновению, запаздывала. Чаще и чаще, однако, у главного входа показывались господа в пальто и шубах, офицеры и целые семейства с детьми, родственниками и гувернантками. Все эти люди при входе с улицы в ярко освещённую залу начинали в первую минуту мигать и прищуриваться, потом оправлялись, проходили – кто направо, кто налево вдоль барьера, и занимали свои места в бенуарах и креслах.

Оркестр гремел в то же время всеми своими трубами. Многие, бравшие билеты у кассы, суетились, думая уже, что началось представление. Но круглая арена, залитая светом с боков и сверху, гладко выглаженная граблями, была ещё пуста.

Вскоре бенуары над ковровым обводом барьера представили почти сплошную пёструю массу разнообразной публики. Яркие туалеты местами били в глаза. Но главную часть зрителей на первом плане составляли дети. Точно цветник рассыпался вокруг барьера.

Между ними всех милее была всё-таки Верочка!

Голубая атласная стёганая шляпка, обшитая лебяжьим пухом, необыкновенно шла к её нежно-розовому лицу с ямочками на щеках и пепельным волосам, ниспадавшим до плеч, прикрытых такою же стёганой голубой мантильей. Стараясь сидеть перед публикой спокойно, как большая, она не могла; однако ж, утерпеть, чтобы не наклоняться и не нашёптывать что-то Зизи и Пафу и не посматривать весёлыми глазами на тётю Соню, сидевшую позади, рядом с величественной мисс Бликс и швейцаркой.

Зизи была одета точь-в-точь как сестра, но подле неё она как-то пропадала и делалась менее заметной; к тому же при входе в цирк ей вдруг представилось, что будут стрелять, и, несмотря на увещания тёти, она сохраняла на лице что-то кислое и вытянутое.

Один Паф, можно сказать, был невозмутим; он оглядывал цирк своими киргизскими глазками и раздувал губы. Недаром какой-то шутник, указывая на него соседям, назвал его

тамбовским помещиком.

Неожиданно оркестр заиграл учащённым темпом. Занавес у входа в конюшню раздвинулся и пропустил человек двадцать, одетых в красные ливреи, обшитые галуном; все они были в ботфортах, волосы на их головах были круто завиты и лоснились от помады.

Сверху донизу цирка прошёл одобрительный говор.

Представление началось.

Ливрейный персонал цирка не успел вытянуться, по обыкновению, в два ряда, как уже со стороны конюшен послышался пронзительный писк и хохот, и целая ватага клоунов, кувыркаясь, падая на руки и взлетая на воздух, выбежала на арену.

Впереди всех был клоун с большими бабочками на груди и на спине камзола. Зрители узнали в нём тотчас же любимца Эдвардса.

– Браво, Эдвардс! Браво! Браво! – раздалось со всех сторон.

Но Эдвардс на этот раз обманул ожидания. Он не сделал никакой особенной шутки: кувыркнувшись раз-другой через голову и пройдясь вокруг арены, балансируя павлиньим пером на носу, он быстро скрылся. Сколько потом ему ни хлопали и ни вызывали его, он не являлся.

На смену ему поспешно была выведена толстая белая лошадь и выбежала, грациозно приседая во все стороны, пятнадцатилетняя девица Амалия, которая чуть не убилась утром, во время представления.

На этот раз всё прошло, однако ж, благополучно.

Девицу Амалию сменил жонглёр; за жонглёром вышел клоун с учёными собаками; после них танцевали на проволоке; выводили лошадь высшей школы, скакали на одной лошади без седла, на двух лошадях с сёдлами, – словом, представление шло своим чередом до наступления антракта.

– Душечка тётя, теперь будет гуттаперчевый мальчик, да? – спросила Верочка.

– Да; в афише сказано: он во втором отделении… Ну что, как? Весело ли вам, деточки?

– Ах, очень, очень весело!.. О-че-нь! – восторженно воскликнула Верочка, но тут же остановилась, встретив взгляд мисс Блике, которая укоризненно покачала головою и принялась поправлять ей мантилью.

– Ну, а тебе, Зизи?.. тебе, Паф, – весело ли?..

– А стрелять будут? – спросила Зизи.

– Нет, успокойся; сказано: не будут!

От Пафа ничего нельзя было добиться; с первых минут

антракта всё внимание его было поглощено лотком с лакомствами и яблоками, появившимся на руках разносчика.

Оркестр снова заиграл, снова выступили в два ряда красные ливреи. Началось второе отделение.

– Когда же будет гуттаперчевый мальчик? – не переставали спрашивать дети каждый раз, как один выход сменял другой, – когда же он будет?..

– А вот, сейчас…

И действительно. Под звуки весёлого вальса портьера раздвинулась, и показалась рослая фигура акробата Беккера, державшего за руку худенького белокурого мальчика.

Оба были обтянуты в трико телесного цвета, обсыпанное блёстками. За ними два прислужника вынесли длинный золочёный шест, с железным перехватом на одном конце. За барьером, который тотчас же захлопнулся со стороны входа, сгруппировались, по обыкновению, красные ливреи и часть циркового персонала. В числе последнего мелькало набелённое лицо клоуна с красными пятнами на щеках и большою бабочкою на груди.

Выйдя на середину арены, Беккер и мальчик раскланялись на все стороны, – после чего Беккер приставил правую руку к спине мальчика и перекувырнул его три раза в воздухе. Но это было, так сказать, только вступление.

Раскланявшись вторично, Беккер поднял шест, поставил его перпендикулярно, укрепил толстый его конец к золотому поясу, обхватывавшему живот, и начал приводить в равновесие другой конец с железным перехватом, едва мелькавшим под куполом цирка.

Приведя таким образом шест в должное равновесие, акробат шепнул несколько слов мальчику, который влез ему сначала на плечи, потом обхватил шест тонкими руками и ногами и стал постепенно подыматься кверху.

Каждое движение мальчика приводило в колебание шест и передавалось Беккеру, продолжавшему балансировать, переступая с одной ноги на другую.

Громкое «браво!» раздалось в зале, когда мальчик достиг, наконец, верхушки шеста и послал оттуда поцелуй.

Снова всё смолкло, кроме оркестра, продолжавшего играть вальс.

Мальчик между тем, придерживаясь к железной перекладине, вытянулся на руках и тихо-тихо начал выгибаться назад, стараясь пропустить ноги между головою и перекладиной; на минуту можно было видеть только его свесившиеся назад белокурые волосы и усиленно сложенную грудь, усыпанную блёстками.

Шест колебался из стороны в сторону, и видно было, каких трудов стоило Беккеру продолжать держать его в равновесии.

– Браво!.. Браво!.. – раздалось снова в зале.

– Довольно! довольно!!. – послышалось в двух-трёх местах.

Но крики и аплодисменты наполнили весь цирк, когда мальчик снова показался сидящим на перекладине и послал оттуда поцелуй.

Беккер, не спускавший глаз с мальчика, шепнул снова что-то. Мальчик немедленно перешёл к другому упражнению. Придерживаясь на руках, он начал осторожно спускать ноги и ложиться на спину. Теперь предстояла самая трудная штука: следовало сначала лечь на спину, уладиться на перекладине таким образом, чтобы привести ноги в равновесие с головою и потом вдруг неожиданно сползти на спине назад и повиснуть в воздухе, придерживаясь только на подколенках.

Всё шло, однако ж, благополучно. Шест, правда, сильно колебался, но гуттаперчевый мальчик был уже на половине дороги; он заметно перегибался всё ниже и ниже и начинал скользить на спине.

– Довольно! Довольно! Не надо! – настойчиво прокричало несколько голосов.

Мальчик продолжал скользить на спине и тихо-тихо спускался вниз головою…

Внезапно что-то сверкнуло и завертелось, сверкая в воздухе; в ту же секунду послышался глухой звук чего-то упавшего на арену.

В один миг всё заволновалось в зале. Часть публики поднялась с мест и зашумела; раздались крики и женский визг; послышались голоса, раздражённо призывавшие доктора. На арене также происходила сумятица; прислуга и клоуны стремительно перескакивали через барьер и тесно обступали Беккера, который вдруг скрылся между ними. Несколько человек подхватили что-то и, пригибаясь, спешно стали выносить к портьере, закрывавшей вход в конюшню.

На арене остался только длинный золочёный шест с железной перекладиной на одном конце.

Оркестр, замолкнувший на минуту, снова вдруг заиграл по данному знаку; на арену выбежало, взвизгивая и кувыркаясь, несколько клоунов, но на них уже не обращали внимания. Публика отовсюду теснилась к выходу.

Несмотря на всеобщую суету, многим бросилась в глаза хорошенькая белокурая девочка в голубой шляпке и мантилье; обвивая руками шею дамы в чёрном платье и истерически рыдая, она не переставала кричать во весь голос: «Ай, мальчик!

мальчик!!»

Положение тёти Сони было очень затруднительно. С одной стороны, сама она была крайне взволнована; с другой – надо было успокаивать истерически рыдавшую девочку, с третьей – надо было торопить мисс Бликс и швейцарку, копавшихся с Зизи и Пафом, наконец, самой надо было одеться и отыскать лакея.

Всё это, однако ж, уладилось, и все благополучно достигли кареты.

Расчёты тёти Сони на действие свежего воздуха, на перемещение в карету нисколько не оправдались; затруднения только возросли. Верочка, лёжа на её коленях, продолжала, правда, рыдать, по-прежнему вскрикивая поминутно: «Ай, мальчик! мальчик!!» – но Зизи стала жаловаться на судорогу в ноге, а Паф плакал, не закрывая рта, валился на всех и говорил, что ему спать хочется… Первым делом тёти, как только приехали домой, было раздеть скорее детей и уложить их в постель. Но этим испытания её не кончились.

Выходя из детской, она встретилась с сестрой и графом.

– Ну что? Как? Как дети? – спросили граф и графиня.

В эту самую минуту из спальни послышалось рыданье, и голос Верочки снова прокричал: «Ай, мальчик! мальчик!..»

– Что такое? – тревожно спросил граф. Тётя Соня должна была рассказать обо всём случившемся.

– Ah, mon Dieu![7] – воскликнула графиня, мгновенно ослабевая и опускаясь в ближайшее кресло.

Граф выпрямился и начал ходить по комнате.

– Я это знал!.. Вы всегда так! Всегда!! – проговорил он, передвигая бровями не то с видом раздражения, не то тоскливо. – Всегда так! Всегда выдумают какие-то… цирк; гм!! очень нужно! quelle idee!! Какой-то там негодяй сорвался… (граф, видимо, был взволнован, потому что никогда, по принципу, не употреблял резких, вульгарных выражений), – сорвался какой-то негодяй и упал… какое зрелище для детей!!. Гм!! наши дети особенно так нервны, Верочка так впечатлительна… Она теперь целую ночь спать не будет.

– Не послать ли за доктором? – робко спросила графиня.

– Tu crois? Tu penses? Quelle idée! – подхватил граф, пожимая плечами и продолжая отмеривать пол длинными своими ногами…

Не без труда успокоив сестру и графа, тётя Соня вернулась в детскую.

Там уже наступила тишина.

Часа два спустя, однако ж, когда в доме все огни были погашены и всё окончательно угомонилось, тётя Соня накинула

на плечи кофту, зажгла свечку и снова прошла в детскую. Едва переводя дух, бережно ступая на цыпочках, приблизилась она к кровати Верочки и подняла кисейный полог.

Разбросав по подушке пепельные свои волосы, подложив ладонь под раскрасневшуюся щёчку, Верочка спала, но сон её не был покоен. Грудь подымалась неровно под тонкой рубашкой, полураскрытые губки судорожно шевелились, а на щеке, лоснившейся от недавних слёз, одна слезинка ещё оставалась и тихо скользила в углу рта.

Тётя Соня умиленно перекрестила её; сама потом перекрестилась под кофтой, закрыла полог и тихими, неслышными шагами вышла из детской…

VII

Ну… А там? Там, в конце Караванной…Там, где ночью здание цирка чернеет всей своей массой и теперь едва виднеется из-за падающего снега, – там что?..

Там также всё темно и тихо.

Во внутреннем коридоре только слабым светом горит ночник, прицепленный к стене под обручами, обтянутыми бумажными цветами. Он освещает на полу тюфяк, который расстилается для акробатов, когда они прыгают с высоты: на тюфяке лежит ребёнок с переломленными рёбрами и разбитою грудью…

Ночник освещает его с головы до ног; он весь обвязан и забинтован; на голове его также повязка; из-под неё смотрят белки полузакрытых, потухающих глаз.

Вокруг: направо, налево, под потолком – всё окутано непроницаемою темнотою и всё тихо.

Изредка раздаётся звук копыт из конюшни или доходит из отдалённого чулана беспокойное взвизгивание одной из учёных собак, которой утром во время представления придавили ногу.

Время от времени слышатся также человеческие шаги… Они приближаются… Из мрака выступает человек с лысой головою, с лицом, выбеленным мелом, бровями, перпендикулярно выведенными на лбу, и красными кружками на щеках: накинутое на плечи пальто позволяет рассмотреть большую бабочку с блёстками, нашитую на груди камзола; он подходит к мальчику, нагибается к его лицу, прислушивается, всматривается…

Но клоун Эдвардс, очевидно, не в нормальном состоянии. Он не в силах выдержать до воскресенья обещания, данного режиссёру, не в силах бороться против тоски, им овладевшей, его настойчиво опять тянет в уборную, к столу, где едва виднеется

почти опорожнённый графин водки. Он выпрямляется, потряхивает головою и отходит от мальчика нетвёрдыми шагами. Облик его постепенно затушёвывается окружающею темнотою, пропадает, наконец, вовсе, – и снова всё вокруг охватывается мраком и тишиною…

На следующее утро афишка цирка не возвещала упражнений «гуттаперчевого мальчика». Имя его и потом не упоминалось; да и нельзя было: гуттаперчевого мальчика уже не было на свете.

Максим Горький

Воробьишко

У воробьёв совсем так же, как у людей: взрослые воробьи и воробьихи пичужки скучные и обо всём говорят, как в книжках написано, а молодёжь – живёт своим умом.

Жил-был желторотый воробей, звали его Пудик, а жил он над окошком бани, за верхним наличником, в тёплом гнезде из пакли, моховинок и других мягких материалов. Летать он ещё не пробовал, но уже крыльями махал и всё выглядывал из гнезда: хотелось поскорее узнать – что такое божий мир и годится ли он для него?

– Что, что? – спрашивала его воробьиха-мама.

Он потряхивал крыльями и, глядя на землю, чирикал:

– Чересчур черна, чересчур!

Прилетал папаша, приносил букашек Пудику и хвастался:

– Чив ли я?

Мама-воробьиха одобряла его:

– Чив, чив!

А Пудик глотал букашек и думал: «Чем чванятся – червяка с ножками дали чудо!»

И всё высовывался из гнезда, всё разглядывал.

– Чадо, чадо, – беспокоилась мать, – смотри – чебурахнешься!

– Чем, чем? – спрашивал Пудик.

– Да не чем, а упадёшь на землю, кошка – чик! и слопает! – объяснял отец, улетая на охоту.

Так всё и шло, а крылья расти не торопились.

Подул однажды ветер – Пудик спрашивает:

– Что, что?

– Ветер дунет на тебя – чирик! и сбросит на землю – кошке! – объяснила мать.

Это не понравилось Пудику, он и сказал:

– А зачем деревья качаются? Пусть перестанут, тогда ветра не будет…

Пробовала мать объяснить ему, что это не так, но он не поверил – он любил объяснять всё по-своему.

Идёт мимо бани мужик, машет руками.

– Чисто крылья ему оборвала кошка, – сказал Пудик, – одни косточки остались!

– Это человек, они все бескрылые! – сказала воробьиха.

– Почему?

– У них такой чин, чтобы жить без крыльев, они всегда на ногах прыгают, чу?

– Зачем?

– Будь-ка у них крылья, так они бы и ловили нас, как мы с папой мошек…

– Чушь! – сказал Пудик. – Чушь, чепуха! Все должны иметь крылья. Чать, на земле хуже, чем в воздухе!.. Когда я вырасту большой, я сделаю, чтобы все летали.

Пудик не верил маме; он ещё не знал, что если маме не верить, это плохо кончится.

Он сидел на самом краю гнезда и во всё горло распевал стихи собственного сочинения:

Эх, бескрылый человек,
У тебя две ножки,
Хоть и очень ты велик,
Едят тебя мошки!
А я маленький совсем,
Зато сам мошек ем.

Пел, пел да и вывалился из гнезда, а воробьиха за ним, а кошка – рыжая, зелёные глаза – тут как тут.

Испугался Пудик, растопырил крылья, качается на серепьких ногах и чирикает:

– Честь имею, имею честь…

А воробьиха отталкивает его в сторону, перья у неё дыбом встали – страшная, храбрая, клюв раскрыла – в глаз кошке целит.

– Прочь, прочь! Лети, Пудик, лети на окно, лети…

Страх приподнял с земли воробьишку, он подпрыгнул, замахал крыльями – раз, раз и – на окне!

Тут и мама подлетела – без хвоста, но в большой радости, села рядом с ним, клюнула его в затылок и говорит:

– Что, что?

– Ну что ж! – сказал Пудик. – Всему сразу не научишься!

А кошка сидит на земле, счищая с лапы воробьихины перья, смотрит на них – рыжая, зелёные глаза – и сожалительно мяукает:

– Мяа-аконький такой воробушек, словно мы-ышка… мя-увы…

И всё кончилось благополучно, если забыть о том, что мама осталась без хвоста…

Случай с Евсейкой

Однажды маленький мальчик Евсейка, – очень хороший человек! – сидя на берегу моря, удил рыбу.

Это очень скучное дело, если рыба, капризничая, не клюёт. А день был жаркий; стал Евсейка со скуки дремать и – бултых! – свалился в воду.

Свалился, но ничего, не испугался и плывёт тихонько, а потом нырнул и тотчас достиг морского дна.

Сел на камень, мягко покрытый рыжими водорослями, смотрит вокруг – очень хорошо!

Ползёт не торопясь алая морская звезда, солидно ходят по камням усатые лангусты, боком-боком двигается краб; везде на камнях, точно крупные вишни, рассеяны актинии, и всюду множество всяких любопытных штук: вот цветут-качаются морские лилии, мелькают, точно мухи, быстрые креветки, вот тащится морская черепаха, и над её тяжёлым щитом играют две маленькие зелёные рыбёшки, совсем как бабочки в воздухе, и вот по белым камням везёт свою раковину рак-отшельник. Евсейка, глядя на него, даже стих вспомнил:

Дом, – не тележка у дядюшки Якова…

И вдруг слышит – над головою у него точно кларнет запищал:

– Вы кто такой?

Смотрит – над головою у него огромнейшая рыба в сизо-серебряной чешуе, выпучила глаза и, оскалив зубы, приятно улыбается, точно её уже зажарили и она лежит на блюде среди стола.

– Это вы говорите? – спросил Евсейка.

– Я-а…

Удивился Евсейка и сердито спрашивает:

– Как же это вы? Ведь рыбы не говорят!

А сам думает: «Вот так раз! Немецкий я вовсе не понимаю, а рыбий язык сразу понял! Ух, какой молодчина!»

И, приосанясь, оглядывается: плавает вокруг него разноцветная игривая рыбёшка и – смеётся, разговаривает:

– Глядите-ка! Вот чудище приплыло: два хвоста!

– Чешуи – нет, фи!

– И плавников только два!

Некоторые, побойчее, подплывают прямо к носу и дразнятся:

– Хорош-хорош!

Евсейка обиделся: «Вот нахалки! Будто не понимают, что перед ними настоящий человек…»

И хочет поймать их, а они, уплывая из-под рук, резвятся, толкают друг друга носами в бока и поют хором, дразня большого рака:

Под камнями рак живёт,
Рыбий хвостик рак жуёт.
Рыбий хвостик очень сух,
Рак не знает вкуса мух.

А он, свирепо шевеля усами, ворчит, вытягивая клешни:

– Попадитесь-ка мне, я вам отстригу языки-то!

«Серьёзный какой», – подумал Евсейка.

Большая же рыба пристаёт к нему:

– Откуда это вы взяли, что все рыбы – немые?

– Папа сказал.

– Что такое – папа?

– Так себе… Вроде меня, только – побольше, и усы у него. Если не сердится, то очень милый…

– А он рыбу ест?

Тут Евсейка испугался: скажи-ка ей, что ест!

Поднял глаза вверх, видит сквозь воду мутно-зелёное небо и солнце в нём, жёлтое, как медный поднос; подумал мальчик и сказал неправду:

– Нет, он не ест рыбы, костлявая очень…

– Однако – какое невежество! – обиженно вскричала рыба. – Не все же мы костлявые! Например – моё семейство…

«Надо переменить разговор», – сообразил Евсей и вежливо спрашивает:

– Вы бывали у нас наверху?

– Очень нужно! – сердито фыркнула рыба. – Там дышать нечем…

– Зато – мухи какие…

Рыба оплыла вокруг него, остановилась прямо против носа, да вдруг и говорит:

– Мух-хи? А вы зачем сюда приплыли?

«Ну, начинается! – подумал Евсейка. – Съест она меня, дура!..»

И, будто бы беззаботно, ответил:

– Так себе, гуляю…

– Гм? – снова фыркнула рыба. – А может быть, вы – уже утопленник?

– Вот ещё! – обиженно крикнул мальчик. – Нисколько даже. Я

вот сейчас встану и…

Попробовал встать, а не может, точно его тяжёлым одеялом окутали – ни поворотиться, ни пошевелиться!

«Сейчас я начну плакать», – подумал он, но тотчас же сообразил, что плачь не плачь, в воде слёз не видно, и решил, что не стоит плакать, – может быть, как-нибудь иначе удастся вывернуться из этой неприятной истории.

А вокруг – господи! – собралось разных морских жителей – числа нет!

На ногу взбирается голотурия, похожая на плохо нарисованного поросёнка, и шипит:

– Желаю с вами познакомиться поближе…

Дрожит перед носом морской пузырь, дуется, пыхтит, – укоряет Евсейку:

– Хорош-хорош! Ни рак, ни рыба, ни моллюск, ай-я-яй!

– Погодите, я, может, ещё авиатором буду, – говорит ему Евсей, а на колени его влез лангуст и, ворочая глазами на ниточках, вежливо спрашивает:

– Позвольте узнать, который час?

Проплыла мимо сепия, совсем как мокрый носовой платок: везде мелькают сифонофоры, точно стеклянные шарики, одно ухо щекочет креветка, другое – тоже щупает кто-то любопытный, даже по голове путешествуют маленькие рачки, запутались в волосах и дергают их.

«Ой, ой, ой!» – воскликнул про себя Евсейка, стараясь смотреть на всё беззаботно и ласково, как папа, когда он виноват, а мамаша сердится на него.

А вокруг в воде повисли рыбы – множество! – поводят тихонько плавниками и, вытаращив на мальчика круглые глаза, скучные, как алгебра, бормочут:

Как он может жить на свете без усов и чешуи?
Мы бы, рыбы, не могли бы раздвоить хвосты свои!
Не похож он ни на рака, ни на нас – весьма во многом!
Не родня ли это чудо безобразным осьминогам?

«Дуры! – обиженно думает Евсейка. – У меня по русскому языку в прошлом году две четвёрки было…»

И делает такой вид, будто он ничего не слышит, даже хотел беззаботно посвистеть, – но – оказалось – нельзя: вода лезет в рот, точно пробка.

А болтливая рыба всё спрашивает его:

– Нравится вам у нас?

– Нет… то есть – да, нравится!.. У меня дома… тоже очень

хорошо, – ответил Евсей и снова испугался:

«Батюшки, что я говорю?! Вдруг она рассердится, и начнут они меня есть…»

Но вслух говорит:

– Давайте как-нибудь играть, а то мне скучно…

Это очень понравилось болтливой рыбе, она засмеялась, открыв круглый рот так, что стали видны розовые жабры, виляет хвостом, блестит острыми зубами и старушечьим голосом кричит:

– Это хорошо – поиграть! Это очень хорошо – поиграть!

– Поплывёмте наверх! – предложил Евсей.

– Зачем? – спросила рыба.

– А вниз уже нельзя ведь! И там, наверху, – мухи.

– Мух-хи! Вы их любите?

Евсей любил только маму, папу и мороженое, но ответил:

– Да…

– Ну что ж? Поплывём! – сказала рыба, перевернувшись головой вверх, а Евсей тотчас цап её за жабры и кричит:

– Я – готов!

– Стойте! Вы, чудище, слишком засунули свои лапы в жабры мне…

– Ничего!

– Как это – ничего? Порядочная рыба не может жить не дыша.

– Господи! – вскричал мальчик. – Ну, что вы спорите всё? Играть так играть…

А сам думает: «Лишь бы только она меня немножко подтащила наверх, а там уже я вынырну».

Поплыла рыба, будто танцуя, и поёт во всю мочь:

Плавниками трепеща,
И зубаста да тоща,
Пищи на обед ища,
Ходит щука вкруг леща!

Маленькие рыбёшки кружатся и хором орут:

Вот так штука!
Тщетно тщится щука
Ущемить леща!
Вот так это – штука!

Плыли, плыли, чем выше – тем всё быстрее и легче, и вдруг Евсейка почувствовал, что голова его выскочила на воздух.

– Ой!

Смотрит – ясный день, солнце играет на воде, зелёная вода заплёскивает на берег, шумит, поёт. Евсейкино удилище плавает в море, далеко от берега, а сам он сидит на том же камне, с которого свалился, и уже весь сухой!

– Ух! – сказал он, улыбаясь солнцу, – вот я и вынырнул.

Про Иванушку-дурачка

Жил-был Иванушка-дурачок, собою красавец, а что ни сделает, всё у него смешно выходит – не так, как у людей.

Нанял его в работники один мужик, а сам с женой собрался в город; жена и говорит Иванушке:

– Останешься ты с детьми, гляди за ними, накорми их!

– А чем? – спрашивает Иванушка.

– Возьми воды, муки, картошки, покроши да свари – будет похлёбка!

Мужик приказывает:

– Дверь стереги, чтобы дети в лес не убежали!

Уехал мужик с женой; Иванушка влез на полати, разбудил детей, стащил их на пол, сам сел сзади их и говорит:

– Ну, вот, я гляжу за вами!

Посидели дети некоторое время на полу – запросили есть; Иванушка втащил в избу кадку воды, насыпал в неё полмешка муки, меру картошки, разболтал всё коромыслом и думает вслух:

– А кого крошить надо?

Услыхали дети – испугались:

– Он, пожалуй, нас искрошит!

И тихонько убежали вон из избы.

Иванушка посмотрел вслед им, почесал затылок, – соображает: «Как же я теперь глядеть за ними буду? Да ещё дверь надо стеречь, чтобы она не убежала!»

Заглянул в кадушку и говорит:

– Варись, похлёбка, а я пойду за детьми глядеть!

Снял дверь с петель, взвалил её на плечи себе и пошёл в лес; вдруг навстречу ему Медведь шагает – удивился, рычит:

– Эй, ты, зачем дерево в лес несёшь?

Рассказал ему Иванушка, что с ним случилось, – Медведь сел на задние лапы и хохочет:

– Экой ты дурачок! Вот я тебя съем за это!

А Иванушка говорит:

– Ты лучше детей съешь, чтоб они в другой раз отца-матери слушались, в лес не бегали!

Медведь ещё сильней смеётся, так и катается по земле со смеху!

– Никогда такого глупого не видал! Пойдём, я тебя жене своей покажу!

Повёл его к себе в берлогу. Иванушка идёт, дверью за сосны задевает.

– Да брось ты её! – говорит Медведь.

– Нет, я своему слову верен: обещал стеречь, так уж устерегу!

Пришли в берлогу. Медведь говорит жене:

– Гляди, Маша, какого я тебе дурачка привёл! Смехота!

А Иванушка спрашивает Медведицу:

– Тётя, не видала ребятишек?

– Мои – дома, спят.

– Ну-ка, покажи, не мои ли это?

Показала ему Медведица трёх медвежат; он говорит:

– Не эти, у меня двое было.

Тут и Медведица видит, что он глупенький, тоже смеётся:

– Да ведь у тебя человечьи дети были!

– Ну да, – сказал Иванушка, – разберёшь их, маленьких-то, какие чьи!

– Вот забавный! – удивилась Медведица и говорит мужу: – Михайло Потапыч, не станем его есть, пусть он у нас в работниках живёт!

– Ладно, – согласился Медведь, – он хоть и человек, да уж больно безобидный!

Дала Медведица Иванушке лукошко, приказывает:

– Поди-ка набери малины лесной, – детишки проснутся, я их вкусненьким угощу!

– Ладно, это я могу! – сказал Иванушка. – А вы дверь постерегите!

Пошёл Иванушка в лесной малинник, набрал малины полное лукошко, сам досыта наелся, идёт назад к медведям и поёт во всё горло:

Эх, как неловки
Божии коровки!
То ли дело – муравьи
Или ящерицы!

Пришёл в берлогу, кричит:

– Вот она, малина!

Медвежата подбежали к лукошку, рычат, толкают друг друга, кувыркаются, очень рады!

А Иванушка, глядя на них, говорит:

– Эхма, жаль, что я не Медведь, а то и у меня дети были бы!

Медведь с женой хохочут.

– Ой, батюшки мои! – рычит Медведь. – Да с ним жить нельзя, со смеху помрёшь!

– Вот что, – говорит Иванушка, – вы тут постерегите дверь, а я пойду ребятишек искать, не то хозяин задаст мне!

А Медведица просит мужа:

– Миша, ты бы помог ему!

– Надо помочь, – согласился Медведь, – уж очень он смешной!

Пошёл Медведь с Иванушкой лесными тропами, идут – разговаривают по-приятельски.

– Ну и глупый же ты! – удивляется Медведь, а Иванушка спрашивает его:

– А ты – умный?

– Я-то?

– Ну да!

– Не знаю.

– И я не знаю. Ты – злой?

– Нет. Зачем?

– А по-моему – кто зол, тот и глуп. Я вот тоже не злой. Стало быть, оба мы с тобой не дураки будем!

– Ишь ты, как вывел! – удивился Медведь.

Вдруг видят: сидят под кустом двое детей, уснули.

Медведь спрашивает:

– Это твои, что ли?

– Не знаю, – говорит Иванушка, – надо их спросить. Мои – есть хотели.

Разбудили детей, спрашивают:

– Хотите есть?

Те кричат:

– Давно хотим!

– Ну, – сказал Иванушка, – значит, это и есть мои! Теперь я поведу их в деревню, а ты, дядя, принеси, пожалуйста, дверь, а то самому мне некогда, мне ещё надобно похлёбку варить!

– Уж ладно! – сказал Медведь. – Принесу!

Идёт Иванушка сзади детей, смотрит за ними в землю, как ему приказано, а сам поёт:

Эх, вот так чудеса!
Жуки ловят зайца,
Под кустом сидит лиса,
Очень удивляется!

Пришёл в избу, а уж хозяева из города воротились, видят: посреди избы кадушка стоит, доверху водой налита, картошкой насыпана да мукой, детей нет, дверь тоже пропала, – сели они на лавку и плачут горько.

– О чём плачете? – спросил их Иванушка.

Тут увидали они детей, обрадовались, обнимают их, а Иванушку спрашивают, показывая на его стряпню в кадке:

– Это чего ты наделал?

– Похлёбку!

– Да разве так надо?

– А я почём знаю – как?

– А дверь куда девалась?

– Сейчас её принесут, – вот она!

Выглянули хозяева в окно, а по улице идёт Медведь, дверь тащит, народ от него во все стороны бежит, на крыши лезут, на деревья; собаки испугались, завязли, со страху, в плетнях, под воротами; только один рыжий петух храбро стоит среди улицы и кричит на Медведя:

– Кину в реку-у!..

Встряска
Страничка из Мишкиной жизни

…Однажды в праздничный вечер он стоял на галерее цирка, плотно прижавшись грудью к дереву перил, и, бледный от напряжённого внимания, смотрел очарованными глазами на арену, где кувыркался ярко одетый клоун, любимец цирковой публики.

Окутанное пышными складками розового и жёлтого атласа тело клоуна, гибкое, как у змеи, мелькая на тёмном фоне арены, принимало различные позы: то лёгкие и грациозные, то уродливые и смешные; оно, как мяч, подпрыгивало в воздухе, ловко кувыркалось там, падало на песок арены и быстро каталось по ней. Потом клоун вскакивал на ноги и, смелый, довольный собой, весело смотрел на публику, ожидая от неё рукоплесканий. Она не скупилась и дружно поощряла его искусство громким смехом, криками, улыбками одобрения. Тогда он вновь извивался, кувыркался, прыгал, жонглировал своим колпаком; при каждом движении его золотые блёстки, нашитые на атласе, сверкали, как искры, а мальчик с галереи жадно следил за этой игрой гибкого тела и, прищуривая от удовольствия свои чёрные глазки, улыбался тихой улыбкой неизъяснимого удовольствия.

– Фот тяк! – ломаным языком и тонким голосом говорил клоун, перепрыгивая через стул. – И фот тяк… – Он вспрыгнул на спинку стула, несколько секунд балансировал на ней, но вдруг неестественно изогнулся, упал и, съёжившись в ком, вместе со стулом замелькал по арене, так что, казалось, будто стул ожил и гонится за ним.

Мальчик следил за всем, что делал клоун, и, увлечённый его ловкостью, невольно отражал и повторял на своей рожице все гримасы уморительно подвижного, набелённого лица. Он повторял бы и жесты, но был стиснут со всех сторон до того, что не мог двинуть рукой. Сзади на него навалился какой-то бородач в кучерском костюме, с боков тоже давили его.

На галерее было душно; грудь, прижатая к дереву перил, болела, ноги ныли от усталости и полученных толчков, но – как ловок и красив этот клоун, и как люб он всем! Увлечение мальчика ловкостью артиста возвышалось до благоговейного чувства, он молчал, когда публика громко выражала свои одобрения клоуну, молчал и порой вздрагивал от желания самому быть там, на арене, кувыркаться по ней в сияющем костюме, смешить людей, слышать их похвалы и видеть сотни

весёлых лиц и внимательных глаз, устремлённых на него.

Сильное, но смутное чувство, властно охватившее мальчика, было, в общем, тёмным чувством – оно не оживляло, а подавляло своей силой, в нём было много грусти и зависти, ещё более обострявшихся каждый раз, когда у мальчика вспыхивала мысль о том, что всё это, красивое и приятное, как сон, должно скоро кончиться и опять ему придётся идти домой, в тёмную и грязную мастерскую…

А клоун встал на четвереньки, одну ногу вытянул и, прыгая по арене на другой и на руках, с визгом и хрюканьем скрылся, возбудив в публике дружный хохот. Следующим номером программы была борьба двух атлетов, потом выехала на лошади барыня в длинном чёрном платье и в шляпе, похожей на маленькое ведёрко, за ней вышли трое акробатов… было и ещё много разных «номеров», но из них внимание маленького зрителя заняли только двое артистов, ещё более маленьких, чем он сам. Исполнив трудное упражнение на турнике, они ушли, но и они не затушевали того впечатления, которое оставил клоун.

Когда представление кончилось и публика с шумом стала расходиться – мальчик с галереи всё ещё медлил уходить и смотрел на арену, где уже гасили огни. Вот там явился какой-то низенький господин с тростью в руке и с сигарой в зубах.

– Это и есть самый он… клоун-то, – сказал бородатый человек и, широко улыбаясь, добавил: – Очень я его хорошо знаю… хоша он и обрядился в настоящее…

Мальчик слышал эти слова и пристально смотрел на человека с сигарой, который стоял среди арены, что-то приказывая людям в красных мундирах, суетившимся по ней. Это – блестящий, ловкий клоун? И мальчик разочарованно тряхнул головой – не понравилось ему, что такой удивительный человек одевается, как самый обыкновенный модный барин. Вот если б он, Мишка, был клоуном, он так бы и ходил по улицам в ярком, широком атласном костюме с золотом и в высоком белом колпаке. И Мишка вышел из цирка, решительно недовольный этим неприятным превращением артиста в обыкновенного человека.

Длинная улица лежала пред мальчиком; по обеим сторонам её, как две нити крупных огненных бус, протягивались в даль фонари, оживлённо и безмолвно состязаясь с тьмой ночи, полной говора людей и дребезга пролёток. Вспоминая выходки клоуна, мальчик улыбался, а иногда, перепрыгивая через впадину на панели или вскакивая на ступеньку крыльца, вполголоса восклицал:

– Фот тяк! И фот тяк!..

И, воспроизводя на лице гримасы и ужимки, потешавшие

публику, мальчик порой останавливался пред окнами магазинов и серьёзно подолгу рассматривал своё отражение на стекле.

Удовлетворённый видом своей исковерканной гримасами скуластой рожицы с маленькими, живыми, чёрными глазами, он весело подпрыгивал и свистал. Но уже в нём являлось нечто портившее ему настроение – память, оживлённая боязнью наказания, чувством, которое постоянно жило в худой груди Мишки, – память упорно восстановляла пред ним завтрашний день – тяжёлый, суетливый день!

Завтра утром он проснётся, разбуженный сердитым окриком кухарки, и пойдёт ставить самовар для мастеров. Потом приготовит посуду для чая на длинном столе среди мастерской и станет будить мастеров, а они будут ругать его и лягаться ногами…

Пока они пьют чай – он должен прибрать их постели, вымести мастерскую, потом, выпив стакан холодного и спитого чая, он достанет из угла мастерской большую каменную плиту, положит её на табурет и с пирамидальным камнем в руках усядется растирать краски. От возни тяжёлым камнем по плите у него заболят, заноют и руки, и плечи, и спина. После обеда около часа отдыха, он уберёт со стола и, свернувшись где-нибудь в углу, – заснёт, как котёнок… а разбудят его пинком. Может быть, его заставят чистить пемзой доски, зашпаклёванные под иконы, и он, кашляя и чихая, долго будет дышать тонкой меловой пылью. И так весь день, до ужина…

Единственное приятное, что испытывал Мишка и чего он всегда с нетерпением ждал, – это приказание бежать куда-нибудь – к столяру за досками для икон, в москательную лавку, в кабак за водкой… А самым неприятным и даже страшным для него было кропотливое и требовавшее большой осторожности поручение заготовить яичных желтков для красок (краски, которыми пишут большинство икон, разводятся на желтке яиц. – *Прим. М.Г.*). Нужно было осторожно разбить яйцо, слить желток в одну чашку, белок в другую, а он то портил яйцо, раздавливая в нём желток, то сливал белок в чашку с желтком и портил уже все желтки, которые успел отделить. За это – били.

Скучную и нелёгкую жизнь изживал он…

…Дойдя до ворот хмурого двухэтажного дома, окрашенного в какую-то рыжую краску, Мишка торкнулся в калитку и, убедившись, что она заперта, тотчас же решил перелезть через забор, что и исполнил быстро и бесшумно, как кошка. Проникая во двор таким необычным путём, он избегал подзатыльника, которым непременно отплатил бы ему дворник за беспокойство отворить калитку, – ведь всегда приятно получать одним

подзатыльником меньше против того, сколько вам их назначено – от судьбы. А кроме этого, Мишке было и невыгодно, чтоб дворник видел, где он ляжет спать. Хитрый мальчик для сна всегда выбирал самые укромные уголки двора – этим он выигрывал у хозяина несколько лишних минут сна, ибо поутру, для того, чтоб разбудить Мишку, – сначала нужно было найти его. И теперь он тихо пробрался в угол двора, там в узкой дыре между поленницей дров и стеной погреба зарылся в солому и рогожи, с наслаждением вытянулся на спине и несколько секунд смотрел в небо.

В небе сверкали звёзды… Они напомнили Мишке золотые блёстки на атласном костюме клоуна, он зажмурил глаза, улыбнулся сквозь дрёму и, беззвучно, одними губами, повторив: «Фот тяк…» – уснул крепким детским сном.

…Проснуться его заставило странное ощущение: ему показалось, что левая нога его быстро бежит куда-то и тащит за собой всё тело. Он с испугом открыл глаза.

– Чертёнок! – укоризненно говорила кухарка, дёргая его за ногу: – Опять ты спрятался? Вот я ужо – погоди! – скажу хозяйке…

– Это я, тётенька Палагея, не прятался, – вот, ей-богу, не прятался! – И Мишка, вскочив на ноги, убеждённо перекрестился.

– Черти тебя спрятали?

– А я пришёл и было везде заперто… дядя Николай стал бы ругаться, – ну я – махать через ворота… – скороговоркой объяснил Мишка, зорко следя за руками тётеньки Палагеи.

– Иди, иди, шишига, ставь самовар-от, ведь уж скоро шесть часо-ов…

– Это я чичас! – с полной готовностью воскликнул Мишка и, довольный тем, что так дёшево отделался, сломя голову побежал в кухню.

Там, бодро возясь около самовара, позеленевшего от старости, пузатого ветерана с исковерканными боками, Мишка вступил в беседу с кухаркой.

– Ну уж в цирке вчерась – ах тётенька! здорово представляли! – щуря глаза от удовольствия, сказал он.

– Я тоже было хотела пойти, – угрюмо отозвалась кухарка и со злым вздохом добавила: – Да разве у нас вырвешься!

– Вам нельзя, – серьёзно сказал Мишка, и так как он был великий дипломат, то, ответив кухарке сочувственным вздохом, пояснил свои слова: – Потому вы вроде как на каторге…

– То-то что…

– А уж был там паяц один… ах и шельма!

– Смешной? – заинтересовалась кухарка оживлением Мишки.

– Тоись просто уморушка! Согнёт он какой-нибудь крендель –

так все за животики и возьмутся! – живо описал Мишка, держа в руках пучок зажжённой лучины.

– Ишь ты… люблю я этих паяцев… клади лучину-то в самовар – руки сожжёшь.

– Фюить! Готово!.. Рожа у него – как на пружинах… уж он её и так кривит и эдак… – Мишка показал, как именно паяц кривит рожу.

Кухарка взглянула на него и расхохоталась.

– Ах ты… таракан ты… ведь уж перенял! Ступай убирай мастерскую-то, ангилютка.

– И фот тяк! – пискливо крикнул Мишка, исчезая из кухни, сопровождаемый добродушным смехом Палагеи.

Прежде чем попасть в мастерскую, он подбежал в сенях к кадке с водой и, глядя в неё, проделал несколько гримас. Выходило настолько хорошо, что он даже сам рассмеялся.

…Этот день стал для него роковым днём и днём триумфа. С утра он рассказывал в мастерской о клоуне, воспроизводил его гримасы, изгибы его тела, пискливую речь и всё, что врезалось в его память. Мастеров томила скука, они рады были и той незатейливой забаве, которую предлагал им увлечённый Мишка, они поощряли его выходки и к вечеру уже звали его – паяц.

– Паяц! На-ко вымой кисти!

– Паяц! Принеси лазури!

И Мишка, чувствуя себя героем дня, белкой прыгал по мастерской, всё более входя в роль потешника, гримасничая и ломаясь. Эта роль, привлекая к нему общее и доброе внимание мастеров, льстила его маленькому самолюбию и весь день охраняла его от щелчков, пинков и иных поощрений, обычных в его жизни. Но – чем выше встанешь, тем хуже падать, это ведь известно…

Вечером, пред концом работы, один из мастеров, писавший поясной образ св. великомученика Пантелеймона, подозвал к себе Мишку и сказал ему, чтобы он поставил икону, ещё сырую, на окно; Мишка, кривляясь, схватил образ и… смазал пальцем краску с ящичка в руке св. целителя… Бледный от испуга, он молча и вопросительно взглянул на мастера.

– Что? Дорвался? – ехидно спросил тот.

– Я нечаянно-о… – тихо протянул Мишка.

– Дай сюда…

Мишка покорно отдал ему икону и потупился.

– Давай башку!

– Господи! – умоляюще взвыл Мишка.

– Ну?!

– Дяденька! Я…

Но мастер схватил его за плечи и притянул к себе. Потом он, не торопясь, запустил ему пальцы своей левой руки в волосы на затылке снизу вверх и начал медленно поднимать мальчика на воздух. Мишка подобрал под себя ноги и поджал руки, точно он думал, что от этого тело его станет легче, и с искажённым от боли лицом повис в воздухе, открыв рот и прерывисто дыша. А мастер, подняв его левой рукой на пол-аршина от пола, взмахнул в воздухе правой и с силой ударил мальчика по ягодицам сверху вниз. Это называется «встряска», она выдирает волосы с корнями и от неё на затылке является опухоль, которая долго заставляет помнить о себе.

Стоная, схватившись за голову руками, Мишка упал на пол к ногам мастера и слышал, как в мастерской смеялись над ним.

– Ловко кувыркнулся, паяц!

– Это, братцы, воздушный полёт.

– Ха-ха-ха! Мишка, а ну-ка ещё посартомораль!

Этот смех резал Мишке душу и был намного острее боли от «встряски». Ему приказали подняться с пола и накрывать на стол для ужина. В кухне его ждало ещё огорчение. Там была хозяйка – она поймала его и начала трясти за ухо, приговаривая:

– А ты, чертёнок, спи, где велят, а не пря-чься, не пря-чься, не пря-чься.

Мишка болтал головой, стараясь попасть в такт движениям хозяйкиной руки, и чувствовал едва одолимое желание укусить эту руку.

…Через час он лежал на своей постели, под столом в мастерской, сжавшись в плотный маленький комок так, точно он хотел задавить в себе боль и горечь.

В окна смотрела луна, освещая голубоватым сиянием большие иконостасные фигуры святых, стоявшие в ряд у стены. Их тёмные лики смотрели сурово и внушительно в торжественной безмятежности своей славы, лунный свет придавал им вид призраков, смягчая резкие краски и оживляя складки тяжёлых риз на их раменах[8].

Без дум, весь поглощённый чувством обиды, мальчик покорно ожидал, когда это чувство затихнет… а блестящие краски икон постепенно вызывали воспоминания о вчерашнем вечере, о красивых костюмах ловких, гибких людей, которые так свободно прыгают, так веселы и красивы…

…И вот он видит арену цирка и себя на ней, с необычайной лёгкостью он совершал самые трудные упражнения, и не усталостью, а сладкой и приятной негой они отзывались в его теле… Гром рукоплесканий поощрял его… полный восхищения пред своей ловкостью, весёлый и гордый, он прыгнул высоко в

воздух и, сопровождаемый гулом одобрения, плавно полетел куда-то, полетел со сладким замиранием сердца… чтоб завтра снова проснуться на земле от пинка.

Александр Иванович Куприн

Белый пудель

I

Узкими горными тропинками, от одного дачного посёлка до другого, пробиралась вдоль южного берега Крыма маленькая бродячая труппа. Впереди обыкновенно бежал, свесив набок длинный розовый язык, белый пудель Арто, остриженный наподобие льва. У перекрёстков он останавливался и, махая хвостом, вопросительно оглядывался назад. По каким-то ему одному известным признакам он всегда безошибочно узнавал дорогу и, весело болтая мохнатыми ушами, кидался галопом вперёд. За собакой шёл двенадцатилетний мальчик Сергей, который держал под левым локтем свёрнутый ковёр для акробатических упражнений, а в правой нёс тесную и грязную клетку со щеглом, обученным вытаскивать из ящика разноцветные бумажки с предсказаниями на будущую жизнь. Наконец сзади плёлся старший член труппы – дедушка Мартын Лодыжкин, с шарманкой на скрюченной спине.

Шарманка была старинная, страдавшая хрипотой, кашлем и перенёсшая на своём веку не один десяток починок. Играла она две вещи: унылый немецкий вальс Лаунера и галоп из «Путешествий в Китай» – обе бывшие в моде лет тридцать-сорок тому назад, по теперь всеми позабытые. Кроме того, были в шарманке две предательские трубы. У одной – дискантовой – пропал голос; она совсем не играла, и поэтому, когда до неё доходила очередь, то вся музыка начинала как бы заикаться, прихрамывать и спотыкаться. У другой трубы, издававшей низкий звук, не сразу закрывался клапан: раз загудев, она тянула одну и ту же басовую ноту, заглушая и сбивая все другие звуки, до тех пор пока ей вдруг не приходило желание замолчать. Дедушка сам сознавал эти недостатки своей машины и иногда замечал шутливо, но с оттенком тайной грусти:

– Что` поделаешь?.. Древний орга`н… простудный… Заиграешь – дачники обижаются: «Фу, говорят, гадость какая!» А ведь пьесы были очень хорошие, модные, но только нынешние господа нашей музыки совсем не обожают. Им сейчас «Гейшу» подавай, «Под двуглавым орлом», из «Продавца птиц» – вальс. Опять-таки трубы эти… Носил я орга́н к мастеру – и чинить не берётся. «Надо, говорит, новые трубы ставить, а лучше всего, говорит, продай ты свою кислую дребедень в музей… вроде как какой-нибудь памятник…» Ну, да уж ладно! Кормила она нас с

тобой, Сергей, до сих пор, Бог даст и ещё покормит.

Дедушка Мартын Лодыжкин любил свою шарманку так, как можно любить только живое, близкое, пожалуй, даже родственное существо. Свыкнувшись с ней за многие годы тяжёлой бродячей жизни, он стал наконец видеть в ней что-то одухотворённое, почти сознательное. Случалось иногда, что ночью, во время ночлега, где-нибудь на грязном постоялом дворе, шарманка, стоявшая на полу, рядом с дедушкиным изголовьем, вдруг издавала слабый звук, печальный, одинокий и дрожащий: точно старческий вздох. Тогда Лодыжкин тихо гладил её по резному боку и шептал ласково:

– Что`, брат? Жалуешься?.. А ты терпи…

Столько же, сколько шарманку, может быть, даже немного больше, он любил своих младших спутников в вечных скитаниях: пуделя Арто и маленького Сергея. Мальчика он взял пять лет тому назад «напрокат» у забулдыги, вдового сапожника, обязавшись за это уплачивать по два рубля в месяц. Но сапожник вскоре умер, и Сергей остался навеки связанным с дедушкой и душою, и мелкими житейскими интересами.

II

Тропинка шла вдоль высокого прибрежного обрыва, извиваясь в тени столетних маслин. Море иногда мелькало между деревьями, и тогда казалось, что, уходя вдаль, оно в то же время подымается вверх спокойной могучей стеной, и цвет его был ещё синее, ещё гуще в узорчатых прорезах, среди серебристо-зелёной листвы. В траве, в кустах кизиля и дикого шиповника, в виноградниках и на деревьях – повсюду заливались цикады; воздух дрожал от их звенящего, однообразного, неумолчного крика. День выдался знойный, безветренный, и накалившаяся земля жгла подошвы ног.

Сергей, шедший, по обыкновению, впереди дедушки, остановился и ждал, пока старик не поравнялся с ним.

– Ты что`, Серёжа? – спросил шарманщик.

– Жара, дедушка Лодыжкин… нет никакого терпения! Искупаться бы…

Старик на ходу привычным движением плеча поправил на спине шарманку и вытер рукавом вспотевшее лицо.

– На что бы лучше! – вздохнул он, жадно поглядывая вниз, на прохладную синеву моря. – Только ведь после купанья ещё больше разморит. Мне один знакомый фельдшер говорил: соль эта самая на человека действует… значит, мол, расслабляет…

Соль-то морская…

– Врал, может быть? – с сомнением заметил Сергей.

– Ну, вот, врал! Зачем ему врать? Человек солидный, непьющий… домишко у него в Севастополе. Да потом здесь и спуститься к морю негде. Подожди, дойдём ужотко до Мисхора, там и пополощем телеса свои грешные. Перед обедом оно лестно, искупаться-то… а потом, значит, поспать трошки… и отличное дело…

Арто, услышавший сзади себя разговор, повернулся и подбежал к людям. Его голубые добрые глаза щурились от жары и глядели умильно, а высунутый длинный язык вздрагивал от частого дыхания.

– Что`, брат пёсик? Тепло? – спросил дедушка.

Собака напряжённо зевнула, завив язык трубочкой, затряслась всем телом и тонко взвизгнула.

– Н-да, братец ты мой, ничего не поделаешь… Сказано: в поте лица твоего, – продолжал наставительно Лодыжкин. – Положим, у тебя, примерно сказать, не лицо, а морда, а всё-таки… Ну, пошёл, пошёл вперёд, нечего под ногами вертеться… А я, Серёжа, признаться сказать, люблю, когда эта самая теплынь. Орга`н вот только мешает, а то, кабы не работа, лёг бы где-нибудь на траве, в тени, пузом, значит, вверх, и полёживай себе. Для наших старых костей это самое солнце – первая вещь.

Тропинка спустилась вниз, соединившись с широкой, твёрдой, как камень, ослепительно-белой дорогой. Здесь начинался старинный графский парк, в густой зелени которого были разбросаны красивые дачи, цветники, оранжереи и фонтаны. Лодыжкин хорошо знал эти места; каждый год обходил он их одно за другим во время виноградного сезона, когда весь Крым наполняется нарядной, богатой и весёлой публикой. Яркая роскошь южной природы не трогала старика, но зато многое восхищало Сергея, бывшего здесь впервые. Магнолии, с их твёрдыми и блестящими, точно лакированными листьями и белыми, с большую тарелку величиной, цветами; беседки, сплошь затканные виноградом, свесившим вниз тяжёлые гроздья; огромные многовековые платаны с их светлой корой и могучими кронами; табачные плантации, ручьи и водопады, и повсюду – на клумбах, на изгородях, на стенах дач – яркие, великолепные душистые розы, – всё это не переставало поражать своей живой цветущей прелестью наивную душу мальчика. Он высказывал свои восторги вслух, ежеминутно теребя старика за рукав.

– Дедушка Лодыжкин, а дедушка, глянь-кось, в фонтане-то – золотые рыбы!.. Ей-богу, дедушка, золотые, умереть мне на месте! – кричал мальчик, прижимаясь лицом к решётке,

огораживающей сад с большим бассейном посредине. – Дедушка, а персики! Бона сколько! На одном дереве!

– Иди-иди, дурашка, чего рот разинул! – подталкивал его шутливо старик. – Погоди, вот дойдём мы до города Новороссийского и, значит, опять подадимся на юг. Там действительно места – есть на что посмотреть. Сейчас, примерно сказать, пойдут тебе Сочи, Адлер, Туапсе, а там, братец ты мой, Сухум, Батум… Глаза раскосишь глядемши… Скажем, примерно – пальма. Удивление! Ствол у неё мохнатый, на манер войлока, а каждый лист такой большой, что нам с тобой обоим укрыться впору.

– Ей-богу? – радостно удивился Сергей.

– Постой, сам увидишь. Да мало ли там чего? Апельцын, например, или хоть, скажем, тот же лимон… Видал небось в лавочке?

– Ну?

– Просто так себе и растёт в воздухе. Без ничего, прямо на дереве, как у нас, значит, яблоко или груша… И народ там, братец, совсем диковинный: турки, персюки, черкесы разные, всё в халатах и с кинжалами… Отчаянный народишка! А то бывают там, братец, эфиопы. Я их в Батуме много раз видел.

– Эфиопы? Знаю. Это которые с рогами, – уверенно сказал Сергей.

– Рогов, положим, у них нет, это враки. Но чёрные, как сапог, и даже блестят. Губищи у них красные, толстенные, а глазищи белые, а волосы курчавые, как на чёрном баране.

– Страшные, поди… эфиопы-то эти?

– Как тебе сказать? С непривычки оно точно… опасаешься немного, ну, а потом видишь, что другие люди не боятся, и сам станешь посмелее… Много там, братец мой, всякой всячины. Придём – сам увидишь. Одно только плохо – лихорадка. Потому кругом болота, гниль, а притом же жарища. Тамошним-то жителям ничего, не действует на них, а пришлому человеку приходится плохо. Одначе будет нам с тобой, Сергей, языками трепать. Лезь-ка в калитку. На этой даче господа живут очень хорошие… Ты меня спроси: уж я всё знаю!

Но день выдался для них неудачный. Из одних мест их прогоняли, едва завидев издали, в других, при первых же хриплых и гнусавых звуках шарманки, досадливо и нетерпеливо махали на них с балконов руками, в третьих прислуга заявляла, что «господа ещё не приехамши». На двух дачах им, правда, заплатили за представление, но очень мало. Впрочем, дедушка никакой низкой платой не гнушался. Выходя из ограды на дорогу, он с довольным видом побрякивал в кармане медяками и говорил добродушно:

– Две да пять, итого семь копеек… Что ж, брат Серёженька, и это деньги. Семь раз по семи, – вот он и полтинник набежал, значит, все мы трое сыты, и ночлег у нас есть, и старичку Лодыжкину, по его слабости, можно рюмочку пропустить, недугов многих ради… Эх, не понимают этого господа! Двугривенный дать ему жалко, а пятачок стыдно… ну и велят идти прочь. А ты лучше дай хоть три копейки… Я ведь не обижаюсь, я ничего… зачем обижаться?

Вообще Лодыжкин был скромного нрава и, даже когда его гнали, не роптал. Но сегодня и его вывела из обычного благодушного спокойствия одна красивая, полная, с виду очень добрая дама, владелица прекрасной дачи, окружённой садом с цветами. Она внимательно слушала музыку, ещё внимательнее глядела на акробатические упражнения Сергея и на смешные «штучки» Арто, после этого долго и подробно расспрашивала мальчика о том, сколько ему лет и как его зовут, где он выучился гимнастике, кем ему приходится старик, чем занимались его родители и т. д.; потом приказала подождать и ушла в комнаты.

Она не появлялась минут десять, а то и четверть часа, и чем дольше тянулось время, тем более разрастались у артистов неопределённые, но заманчивые надежды. Дедушка даже шепнул мальчугану, прикрыв из осторожности рот ладонью, как щитком:

– Ну, Сергей, счастье наше, ты только слушай меня: я, брат, всё знаю. Может быть, из платья что-нибудь даст или из обуви. Это уж верно!..

Наконец барыня вышла на балкон, швырнула сверху в подставленную шляпу Сергея маленькую белую монетку и тотчас же скрылась. Монета оказалась старым, стёртым с обеих сторон и вдобавок дырявым гривенником. Дедушка долго с недоумением рассматривал её. Он уже вышел на дорогу и отошёл далеко от дачи, по всё ещё держал гривенник на ладони, как будто взвешивая его.

– Н-да-а… Ловко! – произнёс он, внезапно остановившись. – Могу сказать… А мы-то, три дурня, старались. Уж лучше бы она хоть пуговицу дала, что ли. Ту по крайности куда-нибудь пришить можно. А что я с этой дрянью буду делать? Барыня небось думает: всё равно старик кому-нибудь её ночью спустит, потихоньку, значит. Нет-с, очень ошибаетесь, сударыня. Старик Лодыжкин такой гадостью заниматься не станет. Да-с! Вот вам ваш драгоценный гривенник! Вот!

И он с негодованием и с гордостью бросил монету, которая, слабо звякнув, зарылась в белую дорожную пыль.

Таким образом старик с мальчиком и с собакой обошли весь дачный посёлок и уж собирались сойти к морю. По левую сторону

оставалась ещё одна, последняя, дача. Её не было видно из-за высокой белой стены, над которой, с той стороны, возвышался плотный строй тонких запылённых кипарисов, похожих на длинные чёрно-серые веретена. Только сквозь широкие чугунные ворота, похожие своей причудливой резьбой на кружево, можно было рассмотреть уголок свежего, точно зелёный яркий шёлк, газона, круглые цветочные клумбы и вдали, на заднем плане, крытую сквозную аллею, всю обвитую густым виноградом. Посредине газона стоял садовник, поливавший из длинного рукава розы. Он прикрыл пальцем отверстие трубы, и от этого в фонтане бесчисленных брызг солнце играло всеми цветами радуги.

Дедушка собирался было пройти мимо, но, заглянув в ворота, остановился в недоумении.

– Подожди-ка малость, Сергей, – окликнул он мальчика. – Никак, там люди шевелятся? Вот так история. Сколько лет здесь хожу – и никогда ни души. А ну-ка, вали, брат Сергей!

– «Дача Дружба», посторонним вход строго воспрещается, – прочитал Сергей надпись, искусно выбитую на одном из столбов, поддерживавших ворота.

– Дружба?.. – переспросил неграмотный дедушка. – Во-во! Это самое настоящее слово – дружба. Весь день у нас заколодило, а уж тут мы с тобой возьмём. Это я носом чую, на манер как охотничий пес. Арто, иси, собачий сын! Вали смело, Серёжа. Ты меня всегда спрашивай: уж я всё знаю!

III

Дорожки сада были усыпаны ровным крупным гравием, хрустевшим под ногами, а с боков обставлены большими розовыми раковинами. На клумбах, над пёстрым ковром из разноцветных трав, возвышались диковинные яркие цветы, от которых сладко благоухал воздух. В водоёмах журчала и плескалась прозрачная вода; из красивых ваз, висевших в воздухе между деревьями, спускались гирляндами вниз вьющиеся растения, а перед домом, на мраморных столбах, стояли два блестящие зеркальные шара, в которых странствующая труппа отразилась вверх ногами, в смешном, изогнутом и растянутом виде.

Перед балконом была большая утоптанная площадка. Сергей расстелил на ней свой коврик, а дедушка, установив шарманку на палке, уже приготовился вертеть ручку, как вдруг неожиданное и странное зрелище привлекло их внимание.

На террасу из внутренних комнат выскочил как бомба, издавая пронзительные крики, мальчик лет восьми или десяти. Он был в лёгком матросском костюмчике, с обнажёнными руками и голыми коленками. Белокурые волосы, все в крупных локонах, растрепались у него небрежно по плечам. Следом за мальчиком выбежало ещё шесть человек: две женщины в фартуках; старый толстый лакей во фраке, без усов и без бороды, но с длинными седыми бакенбардами; сухопарая, рыжая, красноносая девица в синем клетчатом платье; молодая, болезненного вида, но очень красивая дама в кружевном голубом капоте и, наконец, толстый лысый господин в чесунчёвой паре и в золотых очках. Все они были сильно встревожены, махали руками, говорили громко и даже толкали друг друга. Сразу можно было догадаться, что причиной их беспокойства является мальчик в матросском костюме, так внезапно вылетевший на террасу.

Между тем виновник этой суматохи, ни на секунду не прекращая своего визга, с разбегу повалился животом на каменный пол, быстро перекатился на спину и с сильным ожесточением принялся дрыгать руками и ногами во все стороны. Взрослые засуетились вокруг него. Старый лакей во фраке прижимал с умоляющим видом обе руки к накрахмаленной рубашке, тряс своими длинными бакенбардами и говорил жалобно:

– Батюшка барин!.. Николай Аполлонович!.. Не извольте огорчать маменьку-с – встаньте… Будьте столь добренькие – выкушайте-с. Микстурка очень сладенькая, один суроп-с. Извольте подняться…

Женщины в фартуках всплескивали руками и щебетали скоро-скоро подобострастными и испуганными голосами. Красноносая девица кричала с трагическими жестами что-то очень внушительное, но совершенно непонятное, очевидно на иностранном языке. Рассудительным басом уговаривал мальчика господин в золотых очках; при этом он наклонял голову то на один, то на другой бок и степенно разводил руками. А красивая дама томно стонала, прижимая тонкий кружевной платок к глазам:

– Ах, Трилли, ах, боже мой!.. Ангел мой, я умоляю тебя. Послушай же, мама тебя умоляет. Ну, прими же, прими лекарство; увидишь, тебе сразу-сразу станет легче: и животик пройдёт и головка. Ну, сделай это для меня, моя радость! Ну, хочешь, Трилли, мама станет перед тобой на колени? Ну вот, смотри, я на коленях перед тобой. Хочешь, я тебе подарю золотой? Два золотых? Пять золотых, Трилли? Хочешь живого ослика? Хочешь живую лошадку?.. Да скажите же ему что-нибудь,

доктор!..

– Послушайте, Трилли, будьте же мужчиной, – загудел толстый господин в очках.

– Ай-яй-яй-я-а-а-а! – вопил мальчик, извиваясь по балкону и отчаянно болтая ногами.

Несмотря на своё крайнее волнение, он всё-таки норовил попадать каблуками в животы и в ноги возившихся вокруг него людей, которые от этого, впрочем, довольно ловко уклонялись.

Сергей, долго глядевший с любопытством и удивлением на эту сцену, тихонько толкнул старика в бок.

– Дедушка Лодыжкин, что же это такое с ним? – спросил он шёпотом. – Никак драть его будут?

– Ну вот, драть… Такой сам всякого посекёт. Просто – блажной мальчишка. Больной, должно быть.

– Шамашедчий? – догадался Сергей.

– А я почём знаю. Тише!..

– Ай-яй-а-а! Дряни! Дураки!.. – надрывался всё громче и громче мальчик.

– Начинай, Сергей. Я знаю! – распорядился вдруг Лодыжкин и с решительным видом завертел ручку шарманки.

По саду понеслись гнусавые, сиплые, фальшивые звуки старинного галопа. Все на балконе разом встрепенулись, даже мальчик замолчал на несколько секунд.

– Ах, боже мой, они ещё больше расстроят бедного Трилли! – воскликнула плачевно дама в голубом капоте. – Ах, да прогоните же их, прогоните скорее! И эта грязная собака с ними. У собак всегда такие ужасные болезни. Что же вы стоите, Иван, точно монумент?

Она с усталым видом и с отвращением замахала платком на артистов, сухопарая красноносая девица сделала страшные глаза, кто-то угрожающе зашипел… Человек во фраке быстро и мягко скатился с балкона и с выражением ужаса на лице, широко растопырив в стороны руки, подбежал к шарманщику.

– Эт-то что за безобразие! – захрипел он сдавленным, испуганным и в то же время начальственно-сердитым шёпотом. – Кто позволил? Кто пропустил? Марш! Вон!..

Шарманка, уныло пискнув, замолкла.

– Господин хороший, дозвольте вам объяснить… – начал было деликатно дедушка.

– Никаких! Марш! – закричал с каким-то даже свистом в горле фрачный человек.

Его толстое лицо мигом побагровело, а глаза невероятно широко раскрылись, точно вдруг вылезли наружу, и заходили колесом. Это было настолько страшно, что дедушка невольно

отступил на два шага назад.

– Собирайся, Сергей, – сказал он, поспешно вскидывая шарманку на спину. – Идём!

Но не успели они сделать и десяти шагов, как с балкона понеслись новые пронзительные крики:

– Ай-яй-яй! Мне! Хочу-у! А-а-а! Да-ай! Позвать! Мне!

– Но, Трилли!.. Ах, боже мой, Трилли! Ах, да воротите же их, – застонала нервная дама. – Фу, как вы все бестолковы!.. Иван, вы слышите, что вам говорят? Сейчас же позовите этих нищих!..

– Послушайте! Вы! Эй, как вас? Шарманщики! Вернитесь! – закричало с балкона несколько голосов.

Толстый лакей с разлетавшимися в обе стороны бакенбардами, подпрыгивая, как большой резиновый мяч, бегом бросился вслед уходящим артистам.

– Нет!.. Музыканты! Слушайте-ка! Назад!.. Назад!.. – кричал он, задыхаясь и махая обеими руками. – Старичок почтенный, – схватил он наконец за рукав дедушку, – заворачивай оглобли! Господа будут ваш пантомин смотреть. Живо!..

– Н-ну, дела! – вздохнул, покрутив головой, дедушка, однако приблизился к балкону, снял шарманку, укрепил её перед собою на палке и заиграл галоп с того самого места, на котором его только что прервали.

Суета на балконе затихла. Барыня с мальчиком и господин в золотых очках подошли к самым перилам; остальные почтительно оставались на заднем плане. Из глубины сада пришёл садовник в фартуке и стал неподалёку от дедушки. Откуда-то вылезший дворник поместился позади садовника. Это был огромный бородатый мужчина с мрачным, узколобым, рябым лицом. Одет он был в новую розовую рубашку, по которой шли косыми рядами крупные чёрные горошины.

Под хриплые, заикающиеся звуки галопа Сергей разостлал на земле коврик, быстро скинул с ног парусиновые панталоны (они были сшиты из старого мешка и сзади, на самом широком месте, украшались четырёхугольным заводским клеймом), сбросил с себя старую куртку и остался в стареньком нитяном трико, которое, несмотря на многочисленные заплаты, ловко охватывало его тонкую, но сильную и гибкую фигуру. У него уже выработались, путём подражания взрослым, приёмы заправского акробата. Взбегая на коврик, он на ходу приложил руки к губам, а потом широким театральным движением размахнул их в стороны, как бы посылая публике два стремительных поцелуя.

Дедушка одной рукой непрерывно вертел ручку шарманки, извлекая из неё дребезжащий, кашляющий мотив, а другой бросал мальчику разные предметы, которые тот искусно

подхватывал на лету. Репертуар у Сергея был небольшой, но работал он хорошо, «чисто», как говорят акробаты, и с охотой. Он подкидывал вверх пустую пивную бутылку, так что она несколько раз перевёртывалась в воздухе, и вдруг, поймав её горлышком на край тарелки, несколько секунд держал её в равновесии; жонглировал четырьмя костяными шариками, а также двумя свечками, которые он одновременно ловил в подсвечники; потом играл сразу тремя различными предметами – веером, деревянной сигарой и дождевым зонтом. Все они летали у него по воздуху, не прикасаясь к земле, и вдруг сразу зонт оказался над головой, сигара – во рту, а веер кокетливо обмахивал лицо. В заключение Сергей сам несколько раз перекувырнулся на ковре, сделал «лягушку», показал «американский узел» и походил на руках. Истощив весь запас своих «трюков», он опять бросил в публику два поцелуя и, тяжело дыша, подошёл к дедушке, чтобы заменить его у шарманки.

Теперь была очередь Арто. Пёс это отлично знал, и уже давно скакал в волнении всеми четырьмя лапами на дедушку, вылезавшего боком из лямки, и лаял на него отрывистым, нервным лаем. Почём знать, может быть, умный пудель хотел этим сказать, что, по его мнению, безрассудно заниматься акробатическими упражнениями, когда Реомюр показывает двадцать два градуса в тени? Но дедушка Лодыжкин с хитрым видом вытащил из-за спины тонкий кизилевый хлыстик. «Так я и знал!» – с досадой пролаял в последний раз Арто и лениво, непокорно поднялся на задние ноги, не сводя моргающих глаз с хозяина.

– Служить, Арто! Так, так, так… – проговорил старик, держа над головой пуделя хлыст. – Перевернись. Так. Перевернись… Ещё, ещё… Танцуй, собачка, танцуй!.. Садись! Что`-о? Не хочешь? Садись, тебе говорят. А-а… то-то! Смотри! Теперь поздоровайся с почтеннейшей публикой! Ну! Арто! – грозно возвысил голос Лодыжкин.

«Гав!» – брехнул с отвращением пудель. Потом поглядел, жалобно моргая глазами, на хозяина и добавил ещё два раза: «Гав, гав!»

«Нет, не понимает меня мой старик!» – слышалось в этом недовольном лае.

– Вот это – другое дело. Вежливость прежде всего. Ну, а теперь немножко попрыгаем, – продолжал старик, протягивая невысоко над землёю хлыст. – Алле! Нечего, брат, язык-то высовывать. Алле!.. Гоп! Прекрасно! А ну-ка ещё, нох ейн маль… Алле!.. Гоп! Алле! Гоп! Чудесно, собачка. Придём домой, я тебе морковки дам. А, ты морковку не кушаешь? Я и забыл совсем.

Тогда возьми мою чилиндру и попроси у господ. Может быть, они тебе препожалуют что-нибудь повкуснее.

Старик поднял собаку на задние лапы и всунул ей в рот свой древний, засаленный картуз, который он с таким тонким юмором называл «чилиндрой». Держа картуз в зубах и жеманно переступая приседающими ногами, Арто подошёл к террасе. В руках у болезненной дамы появился маленький перламутровый кошелёк. Все окружающие сочувственно улыбались.

– Что? Не говорил я тебе? – задорно шепнул дедушка, наклоняясь к Сергею. – Ты меня спроси: уж я, брат, всё знаю. Никак не меньше рубля.

В это время с террасы раздался такой отчаянный, резкий, почти нечеловеческий вопль, что растерявшийся Арто выронил изо рта шапку и вприпрыжку, с поджатым хвостом, боязливо оглядываясь назад, бросился к ногам своего хозяина.

– Хочу-у-а-а! – закатывался, топая ногами, кудрявый мальчик. – Мне! Хочу! Собаку-у-у! Трилли хочет соба-а-аку-у…

– Ах, боже мой! Ах! Николай Аполлоныч!.. Батюшка барин!.. Успокойся, Трилли, умоляю тебя! – опять засуетились люди на балконе.

– Собаку! Подай собаку! Хочу! Дряни, черти, дураки! – выходил из себя мальчик.

– Но, ангел мой, не расстраивай себя! – залепетала над ним дама в голубом капоте. – Ты хочешь погладить собачку? Ну, хорошо, хорошо, моя радость, сейчас. Доктор, как вы полагаете, можно Трилли погладить эту собаку?

– Вообще говоря, я не советовал бы, – развёл тот руками, – но если надёжная дезинфекция, например, борной кислотой или слабым раствором карболки, то-о… вообще…

– Соба-а-аку!

– Сейчас, моя прелесть, сейчас. Итак, доктор, мы прикажем вымыть её борной кислотой и тогда… Но, Трилли, не волнуйся же так! Старик, подведите, пожалуйста, вашу собаку сюда. Не бойтесь, вам заплатят. Слушайте, она у вас не больная? Я хочу спросить, она не бешеная? Или, может быть, у нее эхинококки?

– Не хочу погладить, не хочу! – ревел Трилли, пуская ртом и носом пузыри. – Хочу совсем! Дураки, черти! Совсем мне! Хочу сам играть… Навсегда!

– Послушайте, старик, подойдите сюда, – силилась перекричать его барыня. – Ах, Трилли, ты убьёшь маму своим криком. И зачем только пустили этих музыкантов! Да подойдите же ближе, ещё ближе… ещё, вам говорят!.. Вот так… Ах, не огорчайся же, Трилли, мама сделает всё, что хочешь. Умоляю тебя. Мисс, да успокойте же наконец ребёнка… Доктор, прошу

вас… Сколько же ты хочешь, старик?

Дедушка снял картуз. Лицо его приняло учтивое, сиротское выражение.

– Сколько вашей милости будет угодно, барыня, ваше высокопревосходительство… Мы люди маленькие, нам всякое даяние – благо… Чай, сами старичка не обидите…

– Ах, как вы бестолковы! Трилли, у тебя заболит горлышко. Ведь поймите, что собака *ваша*, а не моя. Ну, сколько? Десять? Пятнадцать? Двадцать?

– А-а-а! Хочу-у! Дайте собаку, дайте собаку, – взвизгивал мальчик, толкая лакея в круглый живот ногой.

– То есть… простите, ваше сиятельство, – замялся Лодыжкин. – Я – человек старый, глупый… Сразу-то мне не понять… к тому же и глуховат малость… то есть как это вы изволите говорить?.. За собаку?..

– Ах, мой бог!.. Вы, кажется, нарочно притворяетесь идиотом? – вскипела дама. – Няня, дайте поскорее Трилли воды! Я вас спрашиваю русским языком, за сколько вы хотите продать вашу собаку? Понимаете, вашу собаку, собаку…

– Собаку! Соба-аку! – залился громче прежнего мальчик.

Лодыжкин обиделся и надел на голову картуз.

– Собаками, барыня, не торгую-с, – сказал он холодно и с достоинством. – А этот пёс, сударыня, можно сказать, нас двоих, – он показал большим пальцем через плечо на Сергея, – нас двоих кормит, поит и одевает. И никак этого невозможно, что, например, продать.

Трилли между тем кричал с пронзительностью паровозного свистка. Ему подали стакан воды, но он яростно выплеснул его в лицо гувернантке.

– Да послушайте же, безумный старик!.. Нет вещи, которая бы не продавалась, – настаивала дама, стискивая свои виски ладонями. – Мисс, вытрите поскорей лицо и дайте мне мой мигренин. Может быть, ваша собака стоит сто рублей? Ну, двести? Триста? Да отвечайте же, истукан! Доктор, скажите ему что-нибудь, ради бога!

– Собирайся, Сергей, – угрюмо проворчал Лодыжкин. – Исту-ка-н… Арто, иди сюда!..

– Э-э, постой-ка, любезный, – начальственным басом протянул толстый господин в золотых очках. – Ты бы лучше не ломался, мои милый, вот что тебе скажу. Собаке твоей десять рублей красная цена, да ещё вместе с тобой на придачу… Ты подумай, осёл, сколько тебе дают!

– Покорнейше вас благодарю, барин, а только… – Лодыжкин, кряхтя, вскинул шарманку за плечи. – Только никак это дело не

выходит, чтобы, значит, продавать. Уж вы лучше где-нибудь другого кобелька поищите… Счастливо оставаться… Сергей, иди вперёд!

– А паспорт у тебя есть? – вдруг грозно взревел доктор. – Я вас знаю, канальи!

– Дворник! Семён! Гоните их! – закричала с искажённым от гнева лицом барыня.

Мрачный дворник в розовой рубахе со зловещим видом приблизился к артистам. На террасе поднялся страшный, разноголосый гам: ревел благим матом Трилли, стонала его мать, скороговоркой причитали нянька с подпанькой, густым басом, точно рассерженный шмель, гудел доктор. Но дедушка и Сергей уж не имели времени посмотреть, чем всё это кончится. Предшествуемые изрядно струсившим пуделем, они почти бегом спешили к воротам. А следом за ними шёл дворник, подталкивая сзади, в шарманку, и говорил угрожающим голосом:

– Шляетесь здесь, лабарданцы! Благодари ещё Бога, что по шее, старый хрен, не заработал. А в другой раз придёшь, так и знай, стесняться с тобой не стану, намну загривок и стащу к господину вряднику. Шантрапа!

Долгое время старик и мальчик шли молча, но вдруг, точно по уговору, взглянули друг на друга и рассмеялись: сначала захохотал Сергей, а потом, глядя на него, но с некоторым смущением, улыбнулся и Лодыжкин.

– Что, дедушка Лодыжкин? Ты всё знаешь? – поддразнил его лукаво Сергей.

– Да-а, брат. Обмишулились мы с тобой, – покачал головой старый шарманщик. – Язвительный, однако, мальчугашка… Как его, такого, вырастили, шут его возьми? Скажите на милость: двадцать пять человек вокруг него танцы танцуют. Ну уж, будь в моей власти, я бы ему прописа-ал ижу. Подавай, говорит, собаку? Этак что же? Он и луну с неба захочет, так подавай ему и луну? Поди сюда, Арто, поди, моя собаченька. Ну, и денёк сегодня задался. Удивительно!

– На что лучше! – продолжал ехидничать Сергей. – Одна барыня платье подарила, другая целковый дала. Всё ты, дедушка Лодыжкин, наперёд знаешь.

– А ты помалкивай, огарок, – добродушно огрызнулся старик. – Как от дворника-то улепётывал, помнишь? Я думал, и не догнать мне тебя. Серьёзный мужчина – этот дворник.

Выйдя из парка, бродячая труппа спустилась крутой, сыпучей тропинкой к морю. Здесь горы, отступив немного назад, дали место неширокой плоской полосе, покрытой ровными, обточенными прибоем камнями, о которые теперь с тихим

шелестом ласково плескалось море. Саженях в двухстах от берега кувыркались в воде дельфины, показывая из неё на мгновение свои жирные, круглые спины. Вдали на горизонте, там, где голубой атлас моря окаймлялся тёмно-синей бархатной лентой, неподвижно стояли стройные, чуть-чуть розовые на солнце, паруса рыбачьих лодок.

– Тут и выкупаемся, дедушка Лодыжкин, – сказал решительно Сергей. На ходу он уже успел, прыгая то на одной, то на другой ноге, стащить с себя панталоны. – Давай я тебе пособлю орга`н снять.

Он быстро разделся, звонко хлопнул себя ладонями по голому, шоколадному от загара телу и бросился в воду, подымая вокруг себя бугры кипящей пены.

Дедушка раздевался не торопясь. Прикрыв глаза ладонью от солнца и щурясь, он с любовной усмешкой глядел на Сергея.

«Ничего себе растёт паренёк, – думал Лодыжкин, – даром что костлявый – вон все рёбра видать, а всё-таки будет парень крепкий».

– Эй, Серёжка! Ты больно далече-то не плавай. Морская свинья утащит.

– А я её за хвост! – крикнул издали Сергей.

Дедушка долго постоял на солнышке, щупая у себя под мышками. В воду он сошёл очень осторожно и, прежде чем окунуться, старательно мочил себе красное лысое темя и впалые бока. Тело у него было жёлтое, дряблое и бессильное, ноги – поразительно тонкие, а спина с выдавшимися острыми лопатками была сгорблена от долголетнего таскания шарманки.

– Дедушка Лодыжкин, гляди! – крикнул Сергей.

Он перекувырнулся в воде, закинув себе ноги через голову. Дедушка, уже влезший в воду по пояс и приседавший в ней с блаженным кряхтением, крикнул тревожно:

– Ну, а ты не балуйся, поросёнок. Смотри! Я т-тебя!

Арто неистово лаял и скакал по берегу. Его беспокоило, что мальчик заплыл так далеко. «К чему показывать свою храбрость? – волновался пудель. – Есть земля – и ходи по земле. Гораздо спокойнее».

Он и сам залез было в воду по брюхо и два-три раза лакнул её языком. Но солёная вода ему не понравилась, а лёгкие волны, шуршавшие о прибрежный гравий, пугали его. Он выскочил на берег и опять принялся лаять на Сергея. «К чему эти дурацкие фокусы? Сидел бы у берега, рядом со стариком. Ах, сколько беспокойства с этим мальчишкой!»

– Эй, Серёжа, вылезай, что ли, в самом деле, будет тебе! – позвал старик.

– Сейчас, дедушка Лодыжкин, пароходом плыву. У-у-у-ух!

Он наконец подплыл к берегу, но прежде чем одеться, схватил на руки Арто и, вернувшись с ним в море, бросил его далеко в воду. Собака тотчас же поплыла назад, выставив наружу только одну морду со всплывшими наверх ушами, громко и обиженно фыркая. Выскочив на сушу, она затряслась всем телом, и тучи брызг полетели на старика и на Сергея.

– Постой-ка, Серёжа, никак, это к нам? – сказал Лодыжкин, пристально глядя вверх, на гору.

По тропинке быстро спускался вниз, неразборчиво крича и махая руками, тот самый мрачный дворник в розовой рубахе с чёрными горошинами, который четверть часа назад гнал странствующую труппу с дачи.

– Что ему надо? – спросил с недоумением дедушка.

IV

Дворник продолжал кричать, сбегая вниз неловкой рысью, причём рукава его рубахи трепались по ветру, а пазуха надувалась, как парус.

– О-го-го!.. Подождите трошки!..

– А чтоб тебя намочило да не высушило, – сердито проворчал Лодыжкин. – Это он опять насчёт Артошки.

– Давай, дедушка, накладём ему! – храбро предложил Сергей.

– А ну тебя, отвяжись… И что` это за люди, прости господи!..

– Вы вот что… – начал запыхавшийся дворник ещё издали. – Продавайте, что ли, пса-то? Ну, никакого сладу с панычом. Ревет, как теля. «Подай да подай собаку…» Барыня послала, купи, говорит, чего бы ни стоило.

– Довольно даже глупо это со стороны твоей барыни! – рассердился вдруг Лодыжкин, который здесь, на берегу, чувствовал себя гораздо увереннее, чем на чужой даче. – И опять, какая она мне такая барыня? Тебе, может быть, барыня, а мне двоюродное наплевать. И пожалуйста… я тебя прошу… уйди ты от нас, Христа ради… и того… и не приставай.

Но дворник не унимался. Он сел на камни, рядом со стариком, и говорил, неуклюже тыча перед собой пальцами:

– Да пойми же ты, дурак-человек…

– От дурака и слышу, – спокойно отрезал дедушка.

– Да постой… не к тому я это… Вот, право, репей какой… Ты подумай: ну, что тебе собака? Подобрал другого щенка, выучил стоять дыбки, вот тебе и снова пёс. Ну? Неправду, что ли, я говорю? А?

Дедушка внимательно завязывал ремень вокруг штанов. На настойчивые вопросы дворника он ответил с деланым равнодушием:

– Бреши дальше… Я потом сразу тебе отвечу.

– А тут, брат ты мой, сразу – цифра! – горячился дворник. – Двести, а не то триста целковых враз! Ну, обыкновенно, мне кое-что за труды… Ты подумай только: три сотенных! Ведь это сразу можно бакалейную открыть…

Говоря таким образом, дворник вытащил из кармана кусок колбасы и швырнул его пуделю. Арто поймал его на лету, проглотил в один приём и искательно завилял хвостом.

– Кончил? – коротко спросил Лодыжкин.

– Да тут долго и кончать нечего. Давай пса – и по рукам.

– Та-ак-с, – насмешливо протянул дедушка. – Продать, значит, собачку?

– Обыкновенно – продать. Чего вам ещё? Главное, паныч у нас такой скажённый. Чего захотелось, так весь дом перебулгачит. Подавай – и всё тут. Это ещё без отца, а при отце… святители вы наши!.. все вверх ногами ходят. Барин у нас инженер, может быть, слышали, господин Обольянинов? По всей России железные дороги строят. Мельонер! А мальчишка-то у нас один. И озорует. Хочу поню живую – на тебе поню. Хочу лодку – на тебе всамделишную лодку. Как есть ни в чём, ни в чём отказу…

– А луну?

– То есть в каких это смыслах?

– Говорю, луну он ни разу с неба не захотел?

– Ну вот… тоже скажешь – луну! – сконфузился дворник. – Так как же, мил человек, лады у нас, что ли?

Дедушка, который успел уже в это время напялить на себя коричневый, позеленевший на швах пиджак, гордо выпрямился, насколько ему позволяла вечно согнутая спина.

– Я тебе одно скажу, парень, – начал он не без торжественности. – Примерно, ежели бы у тебя был брат или, скажем, друг, который, значит, с самого сыздетства. Постой, друже, ты собаке колбасу даром не стравляй… сам лучше скушай… этим, брат, её не подкупишь. Говорю, ежели бы у тебя был самый что ни на есть верный друг… который сыздетства… То за сколько бы ты его примерно продал?

– Приравнял тоже!..

– Вот те и приравнял. Ты так и скажи своему барину, который железную дорогу строит, – возвысил голос дедушка. – Так и скажи: не всё, мол, продаётся, что покупается. Да! Ты собаку-то лучше не гладь, это ни к чему. Арто, иди сюда, собачий сын, я т-тебе! Сергей, собирайся.

– Дурак ты старый, – не вытерпел наконец дворник.

– Дурак, да отроду так, а ты хам, Иуда, продажная душа, – выругался Лодыжкин. – Увидишь свою генеральшу, кланяйся ей, скажи: от наших, мол, с любовию вашим низкий поклон. Свёртывай ковёр, Сергей! Э-эх, спина моя, спинушка! Пойдём.

– Значит, та-ак!.. – многозначительно протянул дворник.

– С тем и возьмите! – задорно ответил старик.

Артисты поплелись вдоль морского берега, опять вверх, по той же дороге. Оглянувшись случайно назад, Сергей увидел, что дворник следит за ними. Вид у него был задумчивый и угрюмый. Он сосредоточенно чесал всей пятернёй под съехавшей на глаза шапкой свой лохматый рыжий затылок.

V

У дедушки Лодыжкина был давным-давно примечен одни уголок между Мисхором и Алупкой, книзу от нижней дороги, где отлично можно было позавтракать. Туда он и повёл своих спутников. Неподалёку от моста, перекинутого через бурливый и грязный горный поток, выбегала из-под земли, в тени кривых дубов и густого орешника, говорливая, холодная струйка воды. Она проделала в почве круглый неглубокий водоём, из которого сбегала в ручей тонкой змейкой, блестевшей в траве, как живое серебро. Около этого родника по утрам и по вечерам всегда можно было застать набожных турок, пивших воду и творивших свои священные омовения.

– Грехи наши тяжкие, а запасы скудные, – сказал дедушка, садясь в прохладе под орешником. – Ну-ка, Серёжа, Господи благослови!

Он вынул из холщового мешка хлеб, десяток красных томатов, кусок бессарабского сыра «брынзы» и бутылку с прованским маслом. Соль была у него завязана в узелок тряпочки сомнительной чистоты. Перед едой старик долго крестился и что-то шептал. Потом он разломил краюху хлеба на три неровные части: одну, самую большую, он протянул Сергею (малый растёт – ему надо есть), другую, поменьше, оставил для пуделя, самую маленькую взял себе.

– Во имя Отца и Сына. Очи всех на Тя, Господи, уповают, – шептал он, суетливо распределяя порции и поливая их из бутылки маслом. – Вкушай, Серёжа!

Не торопясь, медленно, в молчании, как едят настоящие труженики, принялись трое за свой скромный обед. Слышно было только, как жевали три пары челюстей. Арто ел свою долю в

сторонке, растянувшись на животе и положив на хлеб обе передние лапы. Дедушка и Сергей поочерёдно макали в соль спелые помидоры, из которых тёк по их губам и рукам красный, как кровь, сок, и заедали их сыром и хлебом. Насытившись, они напились воды, подставляя под струю источника жестяную кружку. Вода была прозрачная, прекрасная на вкус и такая холодная, что от неё кружка даже запотела снаружи. Дневной жар и длинный путь изморили артистов, которые встали сегодня чуть свет. У дедушки слипались глаза. Сергей зевал и потягивался.

– Что`, братику, разве нам лечь поспать на минуточку? – спросил дедушка. – Дай-ка я в последний раз водицы попью. Ух, хорошо! – крякнул он, отнимая от кружки рот и тяжело переводя дыхание, между тем как светлые капли бежали с его усов и бороды. – Если бы я был царём, всё бы эту воду пил… с утра бы до ночи! Арто, иси, сюда! Ну вот, Бог напитал, никто не видал, а кто и видел, тот не обидел… Ох-ох-хонюшки-и!

Старик и мальчик легли рядом на траве, подмостив под головы свои старые пиджаки. Над их головами шумела тёмная листва корявых, раскидистых дубов. Сквозь неё синело чистое голубое небо. Ручей, сбегавший с камня на камень, журчал так однообразно и так вкрадчиво, точно завораживал кого-то своим усыпительным лепетом. Дедушка некоторое время ворочался, кряхтел и говорил что-то, но Сергею казалось, что голос его звучит из какой-то мягкой и сонной дали, а слова были непонятны, как в сказке.

– Перво дело – куплю тебе костюм: розовое трико с золотом… туфли тоже розовые, атласные… В Киеве, в Харькове или, например, скажем, в городе Одессе – там, брат, во какие цирки!.. Фонарей видимо-невидимо… всё электричество горит… Народу, может быть, тысяч пять, а то и больше… почему я знаю? Фамилию мы тебе сочиним непременно итальянскую. Что такая за фамилия Естифеев или, скажем, Лодыжкин? Чепуха одна – нет никакого в ней воображения. А мы тебя в афише запустим – Антонио или, например, тоже хорошо – Энрико или Альфонзо…

Дальше мальчик ничего не слыхал. Нежная и сладкая дремота овладела им, сковав и обессилив его тело. Заснул и дедушка, потерявший вдруг нить своих любимых послеобеденных мыслей о блестящем цирковом будущем Сергея. Один раз ему сквозь сон показалось, что Арто на кого-то рычит. На мгновение в его затуманенной голове скользнуло полусознательное и тревожное воспоминание о давешнем дворнике в розовой рубахе, но, разморённый сном, усталостью и жарой, он не смог встать, а только лениво, с закрытыми глазами, окликнул собаку:

– Арто… куда? Я т-тебя, бродяга!

Но мысли его тотчас же спутались и расплылись в тяжёлых и бесформенных видениях.

Разбудил дедушку голос Сергея. Мальчик бегал взад и вперёд по той стороне ручья, пронзительно свистал и кричал громко, с беспокойством и испугом:

– Арто, иси! Назад! Фью, фью, фью! Арто, назад!

– Ты что, Сергей, вопишь? – недовольно спросил Лодыжкин, с трудом расправляя затёкшую руку.

– Собаку мы проспали, вот что! – раздражённым голосом грубо ответил мальчик. – Пропала собачка.

Он резко свистнул и ещё раз закричал протяжно:

– Арто-о-о!

– Глупости ты выдумываешь!.. Вернётся, – сказал дедушка. Однако он быстро встал на ноги и стал кричать собаку сердитым, сиплым со сна, старческим фальцетом:

– Арто, сюда, собачий сын!

Он торопливо, мелкими, путающимися шажками перебежал через мост и поднялся вверх по шоссе, не переставая звать собаку. Перед ним лежало видное глазу на полверсты, ровное, ярко-белое полотно дороги, но на нём – ни одной фигуры, ни одной тени.

– Арто! Ар-то-шень-ка! – жалобно завыл старик.

Но вдруг он остановился, нагнулся низко к дороге и присел на корточки.

– Да-а, вот оно какое дело-то! – произнёс старик упавшим голосом. – Сергей! Серёжа, поди-ка сюда.

– Ну, что` там ещё? – грубо отозвался мальчик, подходя к Лодыжкину. – Вчерашний день нашёл?

– Серёжа… что` это такое?.. Вот это, что` это такое? Ты понимаешь? – еле слышно спрашивал старик.

Он глядел на мальчика жалкими, растерянными глазами, а его рука, показывавшая прямо в землю, ходила во все стороны.

На дороге в белой пыли валялся довольно большой недоеденный огрызок колбасы, а рядом с ним во всех направлениях отпечатались следы собачьих лап.

– Свёл ведь, подлец, собаку! – испуганно прошептал дедушка, всё ещё сидя на корточках. – Не кто, как он, – дело ясное… Помнишь, давеча у моря-то он всё колбасой прикармливал.

– Дело ясное, – мрачно и со злобой повторил Сергей.

Широко раскрытые глаза дедушки вдруг наполнились крупными слезами и быстро замигали. Он закрыл их руками.

– Что` же нам теперь делать, Серёженька? А? Делать-то нам что` теперь? – спрашивал старик, качаясь взад и вперёд и беспомощно всхлипывая.

– Что` делать, что` делать! – сердито передразнил его

Сергей. – Вставай, дедушка Лодыжкин, пойдём!..

– Пойдём, – уныло и покорно повторил старик, подымаясь с земли. – Ну что ж, пойдём, Серёженька!

Вышедший из терпения Сергей закричал на старика, как на маленького:

– Будет тебе, старик, дурака-то валять. Где это видано всамделе, чтобы чужих собак заманивать? Чего ты глазами на меня хлопаешь? Неправду я говорю? Прямо придём и скажем: «Подавай назад собаку!» А нет – к мировому, вот и весь сказ.

– К мировому… да… конечно… Это верно, к мировому… – с бессмысленной, горькой улыбкой повторял Лодыжкин. Но глаза его неловко и конфузливо забегали. – К мировому… да… Только вот что, Серёженька… не выходит это дело… чтобы к мировому…

– Как это не выходит? Закон один для всех. Чего им в зубы смотреть? – нетерпеливо перебил мальчик.

– А ты, Серёжа, не того… не сердись на меня. Собаку-то нам с тобой не вернут. – Дедушка таинственно понизил голос. – Насчёт пачпорта я опасаюсь. Слыхал, что давеча господин говорил? Спрашивает: «А пачпорт у тебя есть?» Вот она, какая история. А у меня, – дедушка сделал испуганное лицо и зашептал еле слышно, – у меня, Серёжа, пачпорт-то чужой.

– Как чужой?

– То-то вот – чужой. Свой я потерял в Таганроге, а может быть, украли его у меня. Года два я потом крутился: прятался, взятки давал, писал прошения… Наконец вижу, нет никакой моей возможности, живу точно заяц – всякого опасаюсь. Покою вовсе не стало. А тут в Одессе, в ночлежке, подвернулся один грек. «Это, говорит, сущие пустяки. Клади, говорит, старик, на стол двадцать пять рублей, а я тебя навеки пачпортом обеспечу». Раскинул я умом туда-сюда. Эх, думаю, пропадай моя голова. Давай, говорю. И с тех пор, милый мой, вот я и живу по чужому пачпорту.

– Ах, дедушка, дедушка! – глубоко, со слезами в груди вздохнул Сергей. – Собаку мне уж больно жалко… Собака-то уж хороша очень…

– Серёженька, родной мой! – протянул к нему старик дрожащие руки. – Да будь только у меня пачпорт настоящий, разве я бы поглядел, что они генералы? За горло бы взял!.. «Как так? Позвольте! Какое имеете полное право чужих собак красть? Какой такой закон на это есть?» А теперь нам крышка, Серёжа. Приду я в полицию – первое дело: «Подавай пачпорт! Это ты самарский мещанин Мартын Лодыжкин?» – «Я, вашескродие». А я, братец, и не Лодыжкин вовсе и не мещанин, а крестьянин, Иван Дудкин. А кто таков этот Лодыжкин – один Бог его ведает. Почём я знаю, может, воришка какой или беглый каторжник? Или,

может быть, даже убивец? Нет, Серёжа, ничего мы тут не сделаем… Ничего, Серёжа…

Голос у дедушки оборвался и захлебнулся. Слёзы опять потекли по глубоким, коричневым от загара морщинам. Сергей, который слушал ослабевшего старика молча, с плотно сжатыми бровями, бледный от волнения, вдруг взял его под мышки и стал подымать.

– Пойдём, дедушка, – сказал он повелительно и ласково в то же время. – К чёрту пачпорт, пойдём! Не ночевать же нам на большой дороге.

– Милый ты мой, родной, – приговаривал, трясясь всем телом, старик. – Собачка-то уж очень затейная… Артошенька-то наш… Другой такой не будет у нас…

– Ладно, ладно… Вставай, – распоряжался Сергей. – Дай я тебя от пыли-то очищу. Совсем ты у меня раскис, дедушка.

В этот день артисты больше не работали. Несмотря на свой юный возраст, Сергей хорошо понимал всё роковое значение этого страшного слова «пачпорт». Поэтому он не настаивал больше ни на дальнейших розысках Арто, ни на мировом, ни на других решительных мерах. Но пока он шёл рядом с дедушкой до ночлега, с лица его не сходило новое, упрямое и сосредоточенное выражение, точно он задумал про себя что-то чрезвычайно серьёзное и большое.

Не сговариваясь, но, очевидно, по одному и тому же тайному побуждению, они нарочно сделали значительный крюк, чтобы ещё раз пройти мимо «Дружбы». Перед воротами они задержались немного, в смутной надежде увидеть Арто или хоть услышать издали его лай.

Но резные ворота великолепной дачи были плотно закрыты, и в тенистом саду под стройными печальными кипарисами стояла важная, невозмутимая, душистая тишина.

– Гос-спо-да! – шипящим голосом произнёс старик, вкладывая в это слово всю едкую горечь, переполнившую его сердце.

– Будет тебе, пойдём, – сурово приказал мальчик и потянул своего спутника за рукав.

– Серёженька, может, убежит от них ещё Артошка-то? – вдруг опять всхлипнул дедушка. – А? Как ты думаешь, милый?

Но мальчик не ответил старику. Он шёл впереди большими, твёрдыми шагами. Его глаза упорно смотрели вниз на дорогу, а тонкие брови сердито сдвинулись к переносью.

VI

Молча дошли они до Алупки. Дедушка всю дорогу кряхтел и вздыхал, Сергей же сохранял на лице злое, решительное выражение. Они остановились на ночлег в грязной турецкой кофейной, носившей блестящее название «Ылдыз», что значит по-турецки «звезда». Вместе с ними ночевали греки – каменотёсы, землекопы – турки, несколько человек русских рабочих, перебивавшихся подённым трудом, а также несколько тёмных, подозрительных бродяг, которых так много шатается по югу России. Все они, как только кофейная закрылась в определённый час, разлеглись на скамьях, стоящих вдоль стен, и прямо на полу, причём те, что были поопытнее, положили, из нелишней предосторожности, себе под голову всё, что у них было наиболее ценного из вещей и из платья.

Было далеко за полночь, когда Сергей, лежавший на полу рядом с дедушкой, осторожно поднялся и стал бесшумно одеваться. Сквозь широкие окна лился в комнату бледный свет месяца, стелился косым, дрожащим переплётом по полу и, падая на спящих вповалку людей, придавал их лицам страдальческое и мёртвое выражение.

– Ты куда носью ходись, мальцук? – сонно окликнул Сергея у дверей хозяин кофейной, молодой турок Ибрагим.

– Пропусти. Надо! – сурово, деловым тоном ответил Сергей. – Да вставай, что ли, турецкая лопатка!

Зевая, почёсываясь и укоризненно причмокивая языком, Ибрагим отпер двери. Узкие улицы татарского базара были погружены в густую тёмно-синюю тень, которая покрывала зубчатым узором всю мостовую и касалась подножий домов другой, освещённой стороны, резко белевшей в лунном свете своими низкими стенами. На дальних окраинах местечка лаяли собаки. Откуда-то, с верхнего шоссе, доносился звонкий и дробный топот лошади, бежавшей иноходью.

Миновав белую, с зелёным куполом, в виде луковицы, мечеть, окружённую молчаливой толпой тёмных кипарисов, мальчик спустился по тесному кривому переулку на большую дорогу. Для лёгкости Сергей не взял с собой верхней одежды, оставшись в одном трико. Месяц светил ему в спину, и тень мальчика бежала впереди его чёрным, странным, укороченным силуэтом. По обоим бокам шоссе притаился тёмный курчавый кустарник. Какая-то птичка кричала в нём однообразно, через ровные промежутки, тонким, нежным голосом: «Сплю!.. Сплю!..» И казалось, что она покорно сторожит в ночной тишине какую-то печальную тайну, и бессильно борется со сном и усталостью, и тихо, без надежды, жалуется кому-то: «Сплю, сплю!..» А над тёмными кустами и над синеватыми шапками дальних лесов возвышался, упираясь

своими двумя зубцами в небо, Ай-Петри – такой лёгкий, резкий, воздушный, как будто он был вырезан из гигантского куска серебряного картона.

Сергею было немного жутко среди этого величавого безмолвия, в котором так отчётливо и дерзко раздавались его шаги, но в то же время в сердце его разливалась какая-то щекочущая, головокружительная отвага. На одном повороте вдруг открылось море. Огромное, спокойное, оно тихо и торжественно зыбилось. От горизонта к берегу тянулась узкая, дрожащая серебряная дорожка; среди моря она пропадала, – лишь кое-где изредка вспыхивали её блёстки, – и вдруг у самой земли широко расплёскивалась живым, сверкающим металлом, опоясывая берег.

Беззвучно проскользнул Сергей в деревянную калитку, ведущую в парк. Там, под густыми деревьями, было совсем темно. Издали слышался шум неугомонного ручья и чувствовалось его сырое, холодное дыхание. Отчётливо застучала под ногами деревянная настилка моста. Вода под ним была чёрная и страшная. Вот наконец и высокие чугунные ворота, узорчатые, точно кружево, и обвитые ползучими стеблями глициний. Лунный свет, прорезавшись сквозь чащу деревьев, скользил по резьбе ворот слабыми фосфорическими пятнами. По ту сторону был мрак и чутко-пугливая тишина.

Было несколько мгновений, в течение которых Сергей испытывал в душе колебание, почти страх. Но он поборол в себе эти томительные чувства и прошептал:

– А всё-таки я полезу! Всё равно!

Взобраться ему было нетрудно. Изящные чугунные завитки, составлявшие рисунок ворот, служили верными точками опоры для цепких рук и маленьких мускулистых ног. Над воротами на большой высоте перекинулась со столба на столб широкая каменная арка. Сергей ощупью взлез на неё, потом, лёжа на животе, спустил ноги вниз, на другую сторону, и стал понемногу сталкивать туда же всё туловище, не переставая искать ногами какого-нибудь выступа. Таким образом он уже совсем перевесился через арку, держась за её край только пальцами вытянутых рук, но его ноги всё ещё не встречали опоры. Он не мог сообразить тогда, что арка над воротами выступала внутрь гораздо дальше, чем кнаружи, и по мере того как затекали его руки и как тяжелее свисало вниз обессилевшее тело, ужас все сильнее проникал в его душу.

Наконец он не выдержал. Его пальцы, цеплявшиеся за острый угол, разжались, и он стремительно полетел вниз.

Он слышал, как заскрежетал под ним крупный гравий, и почувствовал острую боль в коленях. Несколько секунд он стоял

на четвереньках, оглушённый падением. Ему казалось, что сейчас проснутся все обитатели дачи, прибежит мрачный дворник в розовой рубахе, подымется крик, суматоха… Но, как и прежде, в саду была глубокая, важная тишина. Только какой-то низкий, монотонный, жужжащий звук разносился по всему саду:

«Жжу… жжу… жжу…»

«Ах, ведь это шумит у меня в ушах!» – догадался Сергей. Он поднялся на ноги; всё было страшно, таинственно, сказочно-красиво в саду, точно наполненном ароматными снами. На клумбах тихо шатались, с неясной тревогой наклоняясь друг к другу, словно перешёптываясь и подглядывая, едва видимые в темноте цветы. Стройные, тёмные, пахучие кипарисы медленно кивали своими острыми верхушками с задумчивым и укоряющим выражением. А за ручьём, в чаще кустов, маленькая усталая птичка боролась со сном и с покорной жалобой повторяла:

«Сплю!.. Сплю!.. Сплю!..»

Ночью, среди перепутавшихся на дорожках теней, Сергей не узнал места. Он долго бродил по скрипучему гравию, пока не вышел к дому.

Никогда в жизни мальчик не испытывал такого мучительного ощущения полной беспомощности, заброшенности и одиночества, как теперь. Огромный дом казался ему наполненным беспощадными притаившимися врагами, которые тайно, с злобной усмешкой следили из тёмных окон за каждым движением маленького, слабого мальчика. Молча и нетерпеливо ждали враги какого-то сигнала, ждали чьего-то гневного, оглушительно грозного приказания.

– Только не в доме… в доме её не может быть! – прошептал, как сквозь сон, мальчик. – В доме она выть станет, надоест…

Он обошёл дачу кругом. С задней стороны, на широком дворе, было расположено несколько построек, более простых и незатейливых с виду, очевидно, предназначенных для прислуги. Здесь, так же как и в большом доме, ни в одном окне не было видно огня; только месяц отражался в тёмных стеклах мёртвым неровным блеском. «Не уйти мне отсюда, никогда не уйти!..» – с тоской подумал Сергей. Вспомнился ему на миг дедушка, старая шарманка, ночлеги в кофейных, завтраки у прохладных источников. «Ничего, ничего этого больше не будет!» – печально повторил про себя Сергей. Но чем безнадёжнее становились его мысли, тем более страх уступал в его душе место какому-то тупому и спокойно-злобному отчаянию.

Тонкий, словно стонущий визг вдруг коснулся его слуха. Мальчик остановился, не дыша, с напряжёнными мускулами, вытянувшись на цыпочках. Звук повторился. Казалось, он исходил

из каменного подвала, около которого Сергей стоял и который сообщался с наружным воздухом рядом грубых, маленьких четырёхугольных отверстий без стёкол. Ступая по какой-то цветочной куртине, мальчик подошёл к стене, приложил лицо к одной из отдушин и свистнул. Тихий, сторожкий шум послышался где-то внизу, но тотчас же затих.

– Арто! Артошка! – позвал Сергей дрожащим шёпотом.

Неистовый, срывающийся лай сразу наполнил весь сад, отозвавшись во всех его уголках. В этом лае вместе с радостным приветом смешивались и жалоба, и злость, и чувство физической боли. Слышно было, как собака изо всех сил рвалась в тёмном подвале, силясь от чего-то освободиться.

– Арто! Собакушка!.. Артошенька!.. – вторил ей плачущим голосом мальчик.

– Цыц, окаянная! – раздался снизу зверский, басовый крик. – У, каторжная!

Что-то стукнуло в подвале. Собака залилась длинным прерывистым воем.

– Не смей бить! Не смей бить собаку, проклятый! – закричал в исступлении Сергей, царапая ногтями каменную стену.

Всё, что произошло потом, Сергей помнил смутно, точно в каком-то бурном горячечном бреду. Дверь подвала широко с грохотом распахнулась, и из неё выбежал дворник. В одном нижнем белье, босой, бородатый, бледный от яркого света луны, светившей прямо ему в лицо, он показался Сергею великаном, разъярённым сказочным чудовищем.

– Кто здесь бродит? Застрелю! – загрохотал, точно гром, его голос по саду. – Воры! Грабят!

Но в ту же минуту из темноты раскрытой двери, как белый прыгающий комок, выскочил с лаем Арто. На шее у него болтался обрывок верёвки.

Впрочем, мальчику было не до собаки. Грозный вид дворника охватил его сверхъестественным страхом, связал его ноги, парализовал всё его маленькое тонкое тело. Но к счастью, этот столбняк продолжался недолго. Почти бессознательно Сергей испустил пронзительный, долгий, отчаянный вопль и наугад, не видя дороги, не помня себя от испуга, пустился бежать прочь от подвала.

Он мчался, как птица, крепко и часто ударяя о землю ногами, которые внезапно сделались крепкими, точно две стальные пружины. Рядом с ним скакал, заливаясь радостным лаем, Арто. Сзади тяжело грохотал по песку дворник, яростно рычавший какие-то ругательства.

С размаху Сергей наскочил на ворота, но мгновенно не

подумал, а скорее инстинктивно почувствовал, что здесь дороги нет. Между каменной стеной и растущими вдоль неё кипарисами была узкая тёмная лазейка. Не раздумывая, подчиняясь одному чувству страха, Сергей, нагнувшись, юркнул в неё и побежал вдоль стены. Острые иглы кипарисов, густо и едко пахнувших смолой, хлестали его по лицу. Он спотыкался о корни, падал, разбивая себе в кровь руки, но тотчас же вставал, не замечая даже боли, и опять бежал вперёд, согнувшись почти вдвое, не слыша своего крика. Арто кинулся следом за ним.

Так бежал он по узкому коридору, образованному с одной стороны – высокой стеной, с другой – тесным строем кипарисов, бежал, точно маленький обезумевший от ужаса зверёк, попавший в бесконечную западню. Во рту у него пересохло, и каждое дыхание кололо в груди тысячью иголок. Топот дворника доносился то справа, то слева, и потерявший голову мальчик бросался то вперёд, то назад, несколько раз пробегая мимо ворот и опять ныряя в темную, тесную лазейку.

Наконец Сергей выбился из сил. Сквозь дикий ужас им стала постепенно овладевать холодная, вялая тоска, тупое равнодушие ко всякой опасности. Он сел под дерево, прижался к его стволу изнемогшим от усталости телом и зажмурил глаза. Все ближе и ближе хрустел песок под грузными шагами врага. Арто тихо подвизгивал, уткнув морду в колени Сергея.

В двух шагах от мальчика зашумели ветви, раздвигаемые руками. Сергей бессознательно поднял глаза кверху и вдруг, охваченный невероятною радостью, вскочил одним толчком на ноги. Он только теперь заметил, что стена напротив того места, где он сидел, была очень низкая, не более полутора аршин. Правда, верх её был утыкан вмазанными в извёстку бутылочными осколками, но Сергей не задумался над этим. Мигом схватил он поперёк туловища Арто и поставил его передними лапами на стену. Умный пёс отлично понял его. Он быстро вскарабкался на стену, замахал хвостом и победно залаял.

Следом за ним очутился на стене и Сергей, как раз в то время, когда из расступившихся ветвей кипарисов выглянула большая тёмная фигура. Два гибких, ловких тела – собаки и мальчика – быстро и мягко прыгнули вниз на дорогу. Вслед им понеслась, подобно грязному потоку, скверная, свирепая ругань.

Был ли дворник менее проворным, чем два друга, устал ли он от круженья по саду или просто не надеялся догнать беглецов, но он не преследовал их больше. Тем не менее они долго ещё бежали без отдыха – оба сильные, ловкие, точно окрылённые радостью избавления. К пуделю скоро вернулось его обычное легкомыслие. Сергей ещё оглядывался боязливо назад, а Арто уже

скакал на него, восторженно болтая ушами и обрывком верёвки, и всё изловчался лизнуть его с разбега в самые губы.

Мальчик пришёл в себя только у источника, у того самого, где накануне днём они с дедушкой завтракали. Припавши вместе ртами к холодному водоёму, собака и человек долго и жадно глотали свежую, вкусную воду. Они отталкивали друг друга, приподнимали на минуту кверху головы, чтобы перевести дух, причём с губ звонко капала вода, и опять с новой жаждой приникали к водоёму, не будучи в силах от него оторваться. И когда они наконец отвалились от источника и пошли дальше, то вода плескалась и булькала в их переполненных животах. Опасность миновала, все ужасы этой ночи прошли без следа, и им обоим весело и легко было идти по белой дороге, ярко освещённой луной, между тёмными кустарниками, от которых уже тянуло утренней сыростью и сладким запахом освежённого листа.

В кофейной «Ылдыз» Ибрагим встретил мальчика с укоризненным шёпотом:

– И сто ти се сляесься, мальцук? Сто ти се сляесься? Вай-вай-вай, нехоросо…

Сергей не хотел будить дедушку, но это сделал за него Арто. Он в одно мгновение отыскал старика среди груды валявшихся на полу тел и, прежде чем тот успел опомниться, облизал ему с радостным визгом щёки, глаза, нос и рот. Дедушка проснулся, увидел на шее пуделя верёвку, увидел лежащего рядом с собой, покрытого пылью мальчика и понял всё. Он обратился было к Сергею за разъяснениями, но не мог ничего добиться. Мальчик уже спал, разметав в стороны руки и широко раскрыв рот.

Храбрые беглецы

Нельгин, Амиров и Юрьев – соседи по кроватям в спальной казённого сиротского пансиона. Каждому из них между десятью и одиннадцатью годами.

Юрьев – мальчик вялый, слабенький. У него простое веснушчатое лицо тверской крестьянки – оттого его и кличут в классе «Баба», – светлые ресницы вокруг мутно-голубых глаз, открытый мокрый рот и всегда капля под носом. Он плох в драке, чувствителен, часто плачет и боится темноты.

Амиров – альбинос с белыми волосами на большой, длинной от лба до подбородка голове, с красными белками глаз и бледной шероховатой кожей лица. К нему приходит по воскресеньям отец – такой же большеголовый, седой и красноглазый, как и сын, маленький, чисто выбритый. Появляется он в роскошной приёмной зале (пансион помещается в бывшем дворце графа Разумовского) в опрятненьком отставном военном мундире, украшенном двумя рядами серебряных пуговиц, а в руках у него неизменный красный платок, в котором завязаны яблоки и вкусные тёмные деревенские лепёшки, у которых на верхней стороне выведена ножиком косая решётка.

Амиров-сын – скромен, послушен, учится усердно, и, несмотря на это, он не подлиза, не тихоня, не зубрила; всё, что он делает, отмечено какими-то неуловимыми чертами вкуса, удачи, терпения и немного старческой добротности. Он опрятно носит казённую одежду: парусиновые панталоны и парусиновую рубашку, обшитую вокруг ворота и вокруг рукавов форменной кумачовой лентой. Его собственные вещички: перочинный ножик, пёрышки, пенал, резина и карандаши – всегда блестят, как только что купленные. Он не придумывает новых игр, но в любую игру способен внести много серьёзной увлекательности и милого порядка.

По праздникам, когда для воспитанников открыта библиотека, Амиров непременно выберет, к общей зависти, самую занимательную книгу с приключениями и с яркими картинками, не то, что другие, которые вдруг попросят Гомера и потом с недоумением и тоской зевают над длинными фразами, заключёнными в саженные строки, в которых к тому же попадаются двойные слова, по тридцать букв в каждом, – зевают, но из мальчишеского самолюбия не хотят сознаться в ошибке. Прочитанное Амиров без труда запоминает и пересказывает товарищам толково, точно, но суховато.

Нельгин – фантазёр. Его воображение неистощимо и

чудовищно пышно. Ещё до классного обучения, в малолетней группе, по вечерам, в часы, оставшиеся до ужина, когда наиболее прилежные мальчики плели по способу Фребеля коврики из разноцветных бумажек, или расшивали шерстями выколотых на картоне попугаев, или клеили домики, или просто, без всякой мысли, измазав доску сплошь грифелем, разводили на ней при помощи намусленного пальца облака и макароны, – Нельгин рассказывал своим мечтательным слушателям пёстрые чудесные истории из своей прежней «домашней» жизни, от которых его самого охватывал ужас и вдохновенный восторг. Это ничего не значило, что город Наровчат, где всегда происходило действие и откуда Нельгин был увезён трёхлетним ребёнком, стоит, забытый Богом и людьми, ежегодно выгорая, среди плоской безводной и пыльной равнины, и что старшие братья, главные действующие лица великолепных историй, поумирали, не дожив двухлетнего возраста, задолго до рождения рассказчика, и что отец его служил скромным письмоводителем у мирового посредника, и что от бабушкиных великолепных имений, деревни Щербаковки и села Зубова, проигранных и прокученных буйными предками, остались всего лишь три спорных, кем-то самовольно запаханных десятины. Нельгин всё это знал умом, но всё это было скучное, взрослое, не настоящее и не главное, и он ему не верил, а верил в собственное, яркое, заманчивое и сказочно-прекрасное, верил, как в день и ночь, как в булку и яблоко, как в свои руки и ноги. Для него Наровчат был богатым людным городом, вроде Москвы, но несколько красивее, а вокруг шумели дремучие леса, расстилались непроходимые болота, текли широкие и быстрые реки. В бабушкиных деревнях жили тысячи преданных крепостных, не пожелавших уходить на волю. Отец был могущественным человеком, грозным судьёю, великодушным барином. Брат Сергей отличался сверхчеловеческой силой: одной рукой останавливал бешеную тройку и ударом кулака пробивал насквозь стены. Брат Иннокентий изобрёл и построил удивительную машину, бегавшую по земле, плававшую по воде и под водою и летавшую в воздухе. Брат Борис один владел секретом приготовлять одежду цвета воздуха: надев её, всякий становился невидимкой. Сам же Миша Нельгин замечательно скакал на белом арабском иноходце и метко стрелял из ружья, хотя и маленького, но вовсе не игрушечного, а взаправдышного, бившего на целую версту.

Главным занятием четырёх братьев были великие кровавые подвиги против местных разбойников, населявших мрачные дебри наровчатских лесов. И – бог мой! – что это были за богатырские подвиги, военные хитрости, ночные засады,

перестрелки, ночлеги в лесных трущобах у костров. Как часто четыре брата беззвучно, целыми часами, подползали на животах к становищу врагов, как они прикидывались мёртвыми, чтобы выведать разбойничьи секреты, как они, спасаясь от преследования, ныряли и плыли под водой на сотни шагов, как послушно прибегали их верные кони на условный свист! А сам Миша, чтобы замаскировать от разбойников свой маленький рост, а отчасти и для большей достоверности рассказа, всегда носил под штанами привязанные ходули, а на лице прицепные усы и бороду, свои разговоры с разбойниками вёл страшным, толстым, звериным голосом. Разбойников ловили, сажали в острог, отправляли в Сибирь, но так как с их исчезновением пропадала и канва для жутких и сладких рассказов, то на другой же вечер они убегали из тюрьмы или острога и снова появлялись в окрестностях знаменитого города, пылая жаждой мести и наводя ужас на мирных жителей. Их разбойничьи имена были такие: Гаврюшка, Орешка, Фома Кривой и Степан Клеветник. И с необыкновенной ясностью видел мальчик их красные волосатые рожи, белые зубы, коренастые, корявые тела, красные рубахи и длинные кухонные ножи за поясом.

Классной дамой в группе Нельгина была Ольга Алексеевна, маленькая румяная толстушка с чёрными усиками на верхней губе. Среди остальных чудовищ в юбках, старых, тощих, жёлтых дев с подвязанными ушами, горлами и щеками, злых, крикливых, нервных, среди всех классных дам, которых у мальчиков и девочек в разных классах было до двадцати, – она одна на всю жизнь оставила у Нельгина сравнительно отрадное впечатление, но и она была не без упрёков. Иногда бывала мила, приветлива и ласкова, иногда же выходила по утрам из своей комнатки бледная, с головой, повязанной полотенцем, с запахом туалетного уксуса и тогда становилась нетерпеливой, придирчивой, кричала, стучала маленьким кулачком по столу и сама плакала от раздражения. Любила и поощряла нашёптывание, и даже до такой степени, что случалось, в угоду ей, один мальчишка ехидно втравлял другого в какую-нибудь невинную, но недозволенную пакость, а потом стремительно бежал к классной даме и, захлёбываясь от восторга, с пузырями на губах, доносил.

И вот случилось так, что однажды, в ту полосу, когда Нельгин был в немилости, кто-то из его товарищей доложил Ольге Алексеевне об изумительных героических похождениях Миши, и она совершила большую несправедливость: позвала рассказчика и жестоко, но с неотразимой правдой доказала вздорность его россказней и, постепенно увлекаясь и краснея от охватившего её гнева, назвала его вралишкой и лгуном. Услужливый хохот

других мальчиков ещё более её подзадоривал. Наконец она склеила из белой бумаги высокий остроконечный колпак, написала на нём чернилами кистью жирное слово «лгун» и велела Нельгину носить этот позорный убор целых три дня, снимая его только во время занятий, за едой, на молитве и в спальной. Тогда мальчик сжался, затаился, но увлекательность вымысла была сильнее его воли: он разделял четвертушку бумаги на правильные квадратики и в них очень мелко рисовал знаменитую историю борьбы разбойников с защитниками справедливости.

С переходом из группы в классы пошли другие обычаи и новые нравы. Классные дамы там занимались только надзором; для преподавания же наук приходили настоящие учители в очках, в синих фраках с золотыми пуговицами. Убирали кровати мальчиков и водили их в баню не горничные, как раньше, а два усатых дядьки, Матвей и Григорий. Они же в случае надобности и секли ребят по приказанию начальницы пансиона. Это была высокая полная женщина с княжеским титулом, серолицая, сероглазая; в ушах у неё были вдеты большие золотые колокольчики, с языками из каких-то синих камешков, и когда ещё издали в коридоре слышался шум её каменных шагов и лёгкий перезвон сережёк, – мальчишки цепенели от ужаса.

И внутренняя жизнь мальчиков стала совсем иной. Все они уже считали себя на линии будущих военных гимназистов, поэтому жаловаться на товарищей или ябедничать считалось у них преступлением, уважалась сила, грубость со старшими, пренебрежение к наукам.

Единицы да нули:
Вот и все мои баллы.
Двоек, троек очень мало,
А четвёрок не бывало.

Рассказчичьи таланты Нельгина расцвели в этом году с новой, пылкой силой. Но ему уже мало было одних странствований в области воображения: его влекло к действию. Ранее всего он, конечно, изобрёл свой собственный удальской язык, затем он основал бесшабашную шайку молодых людей, которые, в зависимости от прихоти, являлись то казаками, то дикарями, то мстителями-молотобойцами, называвшимися на таинственном языке Нельгина «сацаро-даярами». Принимался в шайку только тот, кто выдерживал двадцать-тридцать ударов жгучей крапивой по рукам. Во время прогулок в огромном запущенном Екатерининском саду эти бравые молодчики, предводительствуемые атаманом Нельгиным, с палками в руках

кидались в чащу жимолости, шиповника и бузины и рубили налево и направо, холодея от восторга, с волосами, вставшими дыбом на головах.

Потом как-то накатил на Нельгина стих набожности, молитвы, стремления к чудотворству. У него только что умерла бабушка, и он был во власти впечатлений от гроба с восковым старческим лицом, грустного похоронного пения, запаха ладана, открытой могилы на Ваганьковском кладбище. По вечерам, в спальне, он становился голыми коленями на пол, усердно крестился, вдавливая три пальца поочерёдно в лоб, в живот и в плечи, и читал проникновенным голосом самодельные молитвы. И, как всегда бывает у детей, у дикарей и у тихих сумасшедших, вокруг него образовалась немедленно толпа последователей. Нельгин выпросил у матери флакончик со святой водой и начал при её помощи творить чудеса. У золотушного Добросердова всегда болело ухо. Надо было его исцелить. И вот, как бедняга ни бился, ни отбрыкивался, его положили на бок, и Нельгин, громко творя молитву, влил ему в уши ложки две чайных воды. Лечил он также головные и зубные боли и давал смоченную ватку за щёку для удачного ответа на уроке.

Затем чей-то рассказ или прочитанная книжка заставили его страстно желать богатства. Он попробовал было выпустить свои собственные деньги из разноцветной бумаги, по рублю, по три, по пяти и по десяти, довольно плохо сделанные. В них охотно играли понарошку, для забавы, но никто не давал за сто рублей даже одного пёрышка, и денежная затея лопнула.

Тогда Нельгин решился делать золото. Он уже слышал о том, как монах Шварц совсем случайно открыл порох, когда, перетирая в ступке какой-то состав, опалил себе лицо неожиданным взрывом. Почему же и Нельгину таким же путём не наткнуться на изобретение золота? С глубокой верой, с таинственным видом он подолгу жевал, обильно смачивая слюной, большие комки бумаги, смешивал эту массу с золой из печных труб, с извёсткой из стен, с мелом, с замазкой, с песком из плевательницы и со всякой гадостью, какая попадала ему под руку. Потихоньку от постороннего взгляда он клал эту волшебную смесь куда-нибудь под пресс: под спальный шкафчик, под классную доску, под учебную скамейку. Через два дня, с бьющимся сердцем, он вынимал сухую бесформенную лепёшку и шептал сам под нос с важным, значительным видом:

– Не тот состав. Чего-то не хватает…

Впрочем, это увлечение алхимией заняло у него не более двух недель. Его сменила полоса влюблённости.

Раз в неделю в пансион приезжал учитель танцев Петр

Алексеевич – круглый, седой, гибкий, подвижной, всегда в прекрасном фраке, сияющий, добродушный – в сопровождении лохматого и унылого скрипача. Тогда в приёмную залу, в блестящем паркете которой пленительно отражались люстры, кенкеты, мраморные стены и бронзовые бюсты, собирали с разных половин мальчиков и девочек старшего класса. Урок танцев был единственным случаем, когда они встречались сравнительно близко, потому что в церкви и даже за обедом они были далеко разделены. Конечно, у мальчишек девочки всегда считались низшими, презренными существами, слабосильными, фискалами, плаксами и неженками. Оттого, стоя в паре со своей дамой и проделывая с нею под унылую скрипку «па-де-баск» и «па-де-глиссе», считалось особенным мужским шиком дёрнуть её за косичку, ущипнуть за руку, сдавить пальцы до боли. И вот Нельгин, который никогда не боялся идти наперекор общим мнениям, взял да в один прекрасный зимний полдень и влюбился в хорошенькую Мухину, в немного всегда заспанную смуглянку, черноглазую, чуть-чуть скуластую, с милыми родинками на щеках и на подбородке. И мало того, что влюбился, но громко заявил об этом перед всем классом и сказал, что тому, кто будет становиться в пару с Мухиной или скажет о ней что-нибудь неуважительное, тому он немедленно побьёт морду до крови. Нельгин не был из первых силачей, но он сам давно уже распространил таинственный, многозначительный слух, что он «скрывает силу». Для поддержания в товарищах такого мнения он иногда, по утрам, в умывальнике очень сильно намыливал себе руки и так долго тёр их, что пена совершенно впитывалась в кожу. А когда его спрашивали, для чего он это делает, он отвечал с сумрачным видом, топорща плечи:

– Так надо. Чтобы кулаки были крепче…

И тогда во всём классе пошла поголовная мода на любовь. Решительно все перевлюблялись самовольно, поделив между собою девочек, точно средневековые завоеватели рабынь. Наиболее сильные и разбитные выбрали себе самых высоких, самых толстых и самых румяных. Слабых оставили слабеньким, зелёным и хилым. Нельгин пошёл ещё дальше. Однажды вечером он долго что-то писал, низко склонившись над листом почтовой бумаги, подпирал от усердия щёку изнутри языком и сопел. Потом украсил листок переводной картинкой, сунул его в розовый конверт, а на конверте наклеил налепную картинку. На первом же уроке танцев он, потея от стыда и страха, сунул Мухиной в руку своё послание. Там были стихи и проза. Девочка смутилась гораздо меньше, чем можно было предполагать: она быстро засунула письмо куда-то под передник и даже не

покраснела. А на другой день во время урока Закона Божьего раздался в коридоре тяжкий топот и звон колокольчиков, отчего чуткое сердце Нельгина похолодело и затосковало. Полуоткрылась дверь, и в ней показалось огромное серое лицо с мясистым носом, а затем рука с подзывающим указательным пальцем:

– Нельгин! Иди-ка сюда, любезный!

И бедного влюблённого повели наверх, в дортуар, разложили на первой кровати и сняли штанишки. Григорий держал его за руки и за голову, а Матвей дал ему двадцать пять добрых розог. Так, сама собою, как-то незаметно пресеклась, а вскоре и вовсе забылась первая любовь. Только образ хорошенькой смуглой Мухиной с её заспанными глазками и надутыми губками застрял в памяти на всю жизнь.

Трудно было бы перечислить все увлечения Нельгина. Предпоследнее было – свободное летание в воздухе. Основу этого искусства, которое теперь уже никого не удивляет, он взял из одного из своих снов, который очень часто повторялся. Ему снилось обыкновенно, что обеими руками он держит широкую ленту и, крутя её через голову, перепрыгивает ногами, вроде того, как девочки играют в скакалку. Ему казалось, что, учащая темп вращения, он становится легче и легче, наконец отделяется от земли и парит в воздухе под потолком. Но он находился уже в таком возрасте, когда нестерпимо хочется обратить мечту в действие, сон в явь. Поэтому во время одной из весенних прогулок он, подобно индейцу племени «апахов» или «черноногих», прокрался в запрещённый лагерь девочек, украл там шнур с двумя рукоятками на концах, принёс его на мальчишеское поле и, твёрдо уверенный в чуде, подобно мифическому Дедалу, легендарным Аполлонию Тианскому, и Симону Волхву, и нашему почти современнику крылатому Лилиенталю, взобрался на самый верх полевой гимнастики, на самую перекладину, и крикнул:

– Глядите! Я сейчас полечу!

Но тотчас же запутался в верёвке и позорно упал, расквасив себе нос и разбив правую коленку.

Насколько можно проследить, самым последним его детским увлечением были экзамены в военную гимназию. Попасть в неё и окончить курс было очень трудно, во-первых, потому, что «разумовских воспитков» вообще принимали неохотно, во-вторых, потому, что они все были подготовлены плохо, в-третьих, потому, что, проведши лучшие годы под влиянием капризных старых дев, они были с самого первоначала исковерканы.

Из пятидесяти мальчиков выдерживали экзамен десять-

пятнадцать; из них после телесного осмотра оставался самый надёжный отбор в количестве пяти-шести мальчиков, но даже и эти счастливцы, пройдя через горнило науки и товарищества, уменьшались до трёх-четырёх. Самых худших, а почём знать, может быть, и самых талантливых, ссылали за плохое учение в Ярославскую прогимназию, а за скверное поведение – в Вольскую, где, как говорят современники, драли их всех по субботам: если виноват, то за вину, а если не виноват, то в поучение, а за особые провинности – вдвое; где редкие крепыши выдерживали, но это были уже настоящие люди, и среди них можно было бы назвать несколько известных, но скромных военных имён в конце девятнадцатого и в начале двадцатого столетия.

Но Нельгин не думал о второстепенных именах истории. В своих пылких грёзах он бывал поочередно то Скобелевым, то Гурко, то Радецким (а время было как раз после окончания войны 1877–1879 годов), иногда даже – до чего простирается мальчишеская дерзость! – Наполеоном. Он заранее чувствовал, что назначена ему какая-то совсем иная судьба. Но чтобы попасть в гимназию, приходилось веровать в чудо…

Пробовал он прибегнуть к помощи молитвы. Стоял ночью в кровати на коленях, изо всей силы прижимал руки к груди, пробовал выжать из себя хоть немножко слёз и даже делал (надо заметить, что он никогда не был лгуном, а только страстным мечтателем) в виде невинной взятки почти неосуществимые обеты: «Милый Бог! Добрый Бог! – говорил он, напрягая все мускулы своего маленького тела. – Ведь ты всё можешь. Тебе ничего не стоит. Сделай так, чтобы я выдержал экзамены, а потом… потом я построю в Зубове или в Щербаковке большую церковку… то есть нет: маленькую церковь или хорошую часовню. Только устрой».

В это время он почти перестал есть, похудел, побледнел, питался хлебом с солью, а также, на прогулках, всякой травяной дрянью: просвирками, свербигусом, молочаем. В научном смысле он сам крепко подналёг и знал, что ему необходимо будет только победить свою самолюбивую застенчивость и, наоборот, сдержать грубую вольность языка.

Но несправедливая судьба, перед которой, вероятно, очень много нагрешил такой невинный и весёлый пистолет, как Нельгин, готовила ему серьёзное испытание. Сменилась или, кажется, уехала на лето в отпуск классная дама Ольга Петровна. Она была очень маленькая и сухая женщина, чрезвычайно строгая, холодная, но и справедливая. Первые два качества вселяли в мальчишек страх, третье – уважение. Однажды она в воскресный день привела своего сына, долговязого

приготовительного гимназиста, поиграть с её мальчиками. Гимназист немножко форсил, показывал мускулы, шведскую гимнастику, перепрыгнул через стол (он говорил, что без разбега, но разбег был в три шага), наконец вызвал кого-нибудь из любителей подраться. Конечно, на это первым согласился Нельгин, а уже после него, поддерживая свою славу главного силача, выступил ленивый Сурков, – однако Нельгин не уступил ему очереди. Через пять минут оба боксёра были красны от крови. Ольга Петровна застала это зрелище и правосудно поставила в угол и того и другого, а другие дети в это время с лицемерно-добродетельными лицами пили шоколад, приготовленный классной дамой для первого знакомства приготовишки с воспитанниками.

Но ушла Ольга Петровна, а на смену её временно была назначена Вера Ивановна Теплоухова. Её Нельгин знал ещё по группе. Это была длинная, но при этом коротконогая девица, с огромной лошадиной бледной мордой. Она всегда носила короткие юбки, из-под которых выглядывали невероятно большие ноги в прюнелевых башмаках с ушками. От неё всегда пахло какой-то вонючей пудрой, а между бровями росла бородавка, похожая цветом на спелую малину, а формою – на рог носорога. Совсем неизвестно, где рок фабрикует людей такой наружности и такого характера.

Самое же ужасное в ней было то, что она была твёрдо убеждена в непоколебимости и верности нравоучительных анекдотов и воскресных прописей и каждое своё слово, взятое из книжки, считала священным.

Конечно, она сразу же, по естественному отвращению, возненавидела Нельгина, в котором, даже и в его юном возрасте, чувствовался настоящий бунтарь, – возненавидела так, как умеют только ненавидеть старые, мелочные, скучающие классные дамы из девиц. Ей претили и движения Нельгина, и звук его голоса, и невольные привычные гримасы, и живость его воображения, и ещё многое, чего она себе объяснить не умела и о чём она потом забыла, как забыла о самом Нельгине.

Это ещё ничего, что Нельгина ежедневно оставляли без завтрака и обеда – он и так почти ничего не ел, – и что его лишали свиданий – к нему никто не приходил, – но Вера Ивановна выбрала с терпением и проницательностью мстительницы самое больное, чувствительное место: она заставляла его стоять столбом во время общих прогулок. В это время другие дети катались на гигантских шагах, строили великолепные пещеры из земли и песка или устраивали из веток сады и огороды. А Нельгин стоял столбом и стоял кому-то назло

добросовестно и терпеливо. Игры товарищей ему были уже неинтересны, но тут же рядом простирался огромный луг, окаймлённый густым лесом. Только потом, вернувшись в эти места уже почти стариком, он убедился, что луг был не более ста квадратных саженей, а лес – кусты жимолости, бузины и сирени. Но в то время это были прерии, пампасы и льяносы. Стоял Нельгин столбом и думал: «Хорошо бы было нестись по этой зелёной степи, скривив челюсть набок, как будто закусив удила, склонив голову, галопом; по этой необозримой степи, усеянной ромашкой, одуванчиками и какими-то голубыми неведомыми цветами и остро пахучими травами». И, конечно, если бы Нельгину сказали: «Вот, тебе прощаются все многочисленные стояния, которые ты должен отбывать за свои провинности, но только обещай, что, отбыв стояние столбом, ты не побежишь опять по траве», – то он, конечно, обещал бы искренно не побежать, но всё-таки побежал бы… Словом, в мнении воспитательниц он навсегда оставался мальчиком-лгуном.

– Она ко мне придирается, и я больше не могу. Совсем никак не могу, – говорил ночью Нельгин, сидя в ногах у Амирова, а рядом с ним, приподнявшись на локте, лежал Юрьев. – Она ко мне придирается, и нет больше моего никакого терпения. Завтра я убегу, а вы – как хотите. Впрочем, это, конечно, будет свинство и вы не товарищи. Читали вы «Дети капитана Гранта»? Пятнадцати лет был мальчик, а он командовал трёхмачтовым кораблём: фок, бизань, такелаж, грот, и там другие вещи и шкоты. Ну, скажем, нам по одиннадцати лет – всё равно. Взять хлеба, посолить, спрятать в карман, потом мы пойдём на квартиру, где жила бабушка. Она теперь умерла, но остались хозяева: Сергей Фирсович и Аглаида Семёновна – они меня знают. Мама теперь в Пензе, и они ни о чём не догадаются. Там мы устроим ночлег. Хотя, конечно, есть и некоторые, которые трусы и подлизы…

Это был с его стороны дипломатический подход. В темноте Нельгин не видел, а как будто чувствовал, что Юрьев расстегнул рот, а Амиров поднял голову, чтобы было удобно слушать.

– Ну что же? – продолжал Нельгин. – Ну что же? Нас здесь мучают, притесняют, из-за каждой ерунды ругают и ставят стоять столбом. Вот жаль, что война кончилась! Но очень просто удрать и в Америку.

– В Америку – это на пароходе, – деловито заметил Амиров.

– Да, на пароходе. Но можно и вплавь, то есть не вплавь, а на лодке. А главное – нужно запастись провизией и деньгами. Мы (он теперь уже говорил не «я», а «мы» – замечательный приём всех заговорщиков) переночуем у Сергей Фирсыча. Он нам даст

несколько денег, потом мы садимся на железную дорогу и едем прямо в Наровчат. Из Наровчата (меня там все знают) едем в наше имение Щербаковку и Зубово (тут его фантазия разгорается, по обыкновению), нас встречают крестьяне… Молоко, деревенские лепешки, всё что угодно… Я им продаю сто десятин леса, тогда мы надеваем взрослое платье, садимся опять на железную дорогу, на пароход и едем в Америку. Впрочем, это всё я могу и один, а вы – как хотите.

– Это верная дорога, – сказал Юрьев.

Амиров подумал и сказал шёпотом, но веско:

– Да! А как убежишь, если она с тебя глаз не спускает? А потом кто-нибудь профискалит? Потом, мы не знаем, как ехать по паровику. Да.

– Ну, паровик – это чепуха. Я всё знаю. Завтра на прогулке она будет ходить со своими любимчиками туда и сюда. Как повернулась спиной – жжик в кусты, а там через парк. Через Яузу вплавь. До Кудринской площади дойдём к вечеру, а потом, уж вы поверьте мне, всё будет как следует. Я даю моё честное, благородное слово.

Нетрудно было ему увлечь мальчиков: Юрьева, который всегда шёл за смелым, предприимчивым Нельгиным, и Амирова, которому стыдно было из обязательного молодечества отказаться от компании. Надо ещё раз отметить, что Нельгин не хотел их обманывать: он просто душой поэта и сердцем путешественника верил в то, что всё сделается, как он предполагал.

На другой день на прогулке вышло маленькое осложнение, решившее судьбу побега. Вера Ивановна рассказывала мальчикам о том, как летело стадо гусей и навстречу ему один гусь. Была она зла и придирчива. Вероятно, у неё был плохой желудок или долго не получалось письмо до востребования. Задача о гусях очень заинтересовала Нельгина, и он просунул свою стриженую большую голову вперёд, забыв в эту минуту о своём побеге, хотя хлеб с солью у него был уже в кармане. Но она увидела ненавистное ей лицо, понюхала, брезгливо сморщилась и сказала:

– От тебя всегда пахнет воробьём.

У всех мальчишек летом, когда волосы немного выгорают, пахнет от головы птицей, но почему-то Нельгин обиделся и ответил:

– А от тебя, дура, пахнет мышами. И потом, ты старая, у тебя грязное лицо.

Готово. Нельгин стоит столбом. Вера Ивановна Теплоухова хватается за голову и кричит:

– Нет! Я больше не могу! Уберите мне его отсюда, уведите этого гнусного мальчика, иначе я сама за себя не ручаюсь!

Дядька! Где дядька! Дети мои! Никогда не берите пример с таких глупых и гадких детей! Нельгин! Будешь стоять во все дни моих дежурств, навсегда, до самой могилы.

Нельгин стоял, глядел на солнце, жмурился и думал: «Вот говорят, что только орлы прямо глядят в лицо солнцу, а вот я не орёл, а гляжу, хотя слёзы текут градом». Другие мальчики насыпали горсточку песку, обложили сырой землёй, потом снизу отковырнули маленькую дверцу, осторожно пальцами выгребли песок – получился великолепный рыцарский замок или разбойничья пещера. «Какие дураки, – думает Нельгин. – Тут нужно вставить прутик с зелёным листиком – это будет флаг, кругом воткнуть разные цветы, какие попадутся, и получится дивный замковый сад». Но всё-таки же одним краем своего сознания он знал, что к нему подойдут Амиров и Юрьев. Выждав момент, они, правда, подошли к нему, как заговорщики.

– Что же, – спросил небрежно Нельгин, – слово дано. Бежим?

Оба помялись.

– Да мне всё равно. Я один убегу. Потом вы обо мне услышите, когда я буду миллионером. Конечно, я для вас найду места, вроде генералов. Только я прошу не фискалить. Я с вами не знаком, вы со мной не знакомы.

Но мальчики уже были зачарованы новой игрой. Юрьев первый сказал:

– Так что же? Раз дали честное слово и клятву друг другу, так пойдём?

Амиров немножко замялся:

– Да вот я не знаю… папа придёт в воскресенье…

Но Нельгин уже овладел положением:

– Папа, папа… Подумаешь тоже: папа! Когда мы приедем в Наровчат, я ему вышлю целый воз битых индюков, кур, гусей, соболью шубу, тройку жеребцов и сундук денег. Потом мы папу возьмём с собою и будем вместе с ним обрабатывать Кордильеры.

Вера Ивановна ходила взад и вперёд, окружённая толпою прилежных учеников. Оставляю на её совести всё то, что она, невежественная и злая, говорила в это время! Но едва только она поравнялась с тремя заговорщиками, из которых один стоял с идиотским лицом, скосив глаза, другой рвал и нюхал какие-то травки, а третий предавался танцевальному искусству, – поравнялась, повернулась спиной и проплыла назад, – как они все трое бросились в кусты.

Это была совсем неизвестная дорога. Там разрослись – волчья ягода, жимолость, бузина, глухая крапива, лопухи, дикий тмин, божьи дудки, просвирняк, и сильно пахло грибами. Сначала очень трудно было пробираться. Мальчикам казалось, что они катятся

по какому-то бесконечному лесному обрыву, затем чаща немного поредела, показалась дорожка. Побежали по ней, долго кружили. Одно время им послышались детские голоса. Нельгин распознал, что они приближаются к той части парка, которая отведена для девочек. Стало быть, нужно было бежать от голосов. Очутились в совсем незнакомом месте. Там текла чёрная, вонючая, быстрая река Яуза, а может быть, её приток. Тут дрогнула приличная душа Амирова. Он сказал:

– Не лучше ли мы оставим это на потом? Во-первых, ко мне придёт в воскресенье отец, и, кроме того, я забыл переписать чистописание.

Какой решительный характер был у Нельгина! Четыре забытых доски, вероятно, остатки портомойни или временного моста, гнили в воде у берега. Нельгин сказал с тем величием, которое смешно в детях и остаётся навеки в истории взрослых.

– Ну что же, Амиров! Это твоё дело. А вот мы с Юрьевым сейчас переплывём реку и потом дальше. Юрьев! Снимай обшлага! Мигом!

Юрьев сорвал красный кумач с воротника и с рукавов. Это сейчас же сделал и Нельгин. Амиров как будто поколебался одну секунду, но благоразумие взяло верх.

– Прощайте.

– Всё-таки не профискалишь? – спросил для верности Нельгин.

– Честное слово! Вот ей-богу!

Амиров ушёл. Ребятишки сели на неустойчивый плот и кое-как, обмакивая руки в воду и заставляя доску двигаться движением тел, добрались до противоположного берега. Вероятно, кто-то неведомый, но добродушный руководил их движениями: если бы они скувырнулись, то так бы и потонули, как камни, потому что берега у реки были обрывисты, а сама река была глубокая, и плавать они оба не умели. Выбрались ползком на противоположный берег и только тогда ясно почувствовали, что все расчёты с прошлым покончены.

И тотчас же они услышали лай, подобный грому. Два больших холёных сенбернара летели прямо на них.

Надо сказать, что мальчики если и видали собак, то только на картинке, но эти разинутые пасти, красные языки, частое дыхание, громкий лай – это уже была действительность. Старая, корявая, дуплистая ива висела над речкой. Первый Юрьев, а за ним Нельгин с быстротой обезьян вскарабкались на ветви и сидели, поджав под себя мокрые ноги, дрожа от ужаса.

Пришёл какой-то человек, грязный, с чёрным лицом, заставил собак замолчать, спросил мальчиков:

– Откуда вы? Кто такие? Где живёте? Куда идёте?

Нельгин начал вдохновенно лгать. Немножко ему вспомнилась «Красная Шапочка»:

– Мы идём в Кудрино, к бабушке. И вот заблудились. Как бы нам пройти?

Чёрный человек всё-таки оказался менее страшным, чем собаки. Под его покровительством они пошли в контору к управляющему железоделательного завода «Дангаузер и К$_о$». Толстый, опившийся пивом и очень спокойный немец спрашивал их почти то же самое, что и чёрный человек, но очень лениво и равнодушно. Нитки не особенно ловко сорванных обшлагов, однако, навели его на почти правильную мысль:

– А всё-таки вы, может быть, из этих самых, как его называется? Елизаветинское училище?

Елизаветинский институт был рядом с пансионом, и если бы он сказал из «Разумовского», то, вероятно, мальчики отдались бы на волю победителя. Но этот промах был в руку Нельгину.

– Помилуйте! Елизаветинский институт – это женский институт, а мы просим указать дорогу.

Немец их отпустил, сказав, однако, чёрному человеку:

– Ты гляди, чтобы чего-нибудь не украли.

Чёрный человек проводил их до вторых ворот по двору, где в свете угасавшего летнего дня цветились радугой лужи, валялись обломки железа и сильно пахло хлором.

Мальчики не знали, где они находятся, и, выйдя на улицу, сейчас же очутились около Андрониевского монастыря. Как ни странным покажется, но когда они спрашивали у прохожих, как пройти в Кудрино, то большей частью получали ответ либо насмешливый, либо явно лживый: «Поверни направо, потом ещё направо, там увидишь трубу, а над трубой сапожник, а над сапожником пирожник, а у парикмахера напудрено – там и увидишь Кудрино», или «Вы, мальчики, идите всё прямо, никуда не сворачивая. А где ваши папа-мама? Ай, ай, ай! Такие маленькие мальчики ходят одни! Как ваши фамилии?»

Но чутьё подсказало Нельгину не верить глумливым указаниям и не отвечать на вопросы. Уже начался вечер… Юрьев куксился, говорил о том, что он, конечно, пошёл бы за Нельгиным на край света, но только одно ему жаль, что он оставил в пансионе кошелёк с семью копейками и образок – благословение покойной матери (она и не думала умирать). Нельгин понимал, что уступить, поколебаться, сдаться – значит потерять всё и сделаться навеки смешным. И он по-своему был велик в эти минуты.

– Давай, – говорил он Юрьеву, – прикинемся, что мы –

бродячие итальянцы.

– Молякаля селя малям! Лям па ля то налям калям.

От них прохожие шарахались. Неизвестно, что они о них думали. Вероятно, думали, что вот выпустили откуда-то двух сумасшедших идиотов. Инстинкт бродячего круговращения иногда заводил их к фонтанам, которые льют свою воду в широкие бассейны. Мальчики пили воду, как собаки, лакали её и – о подлая, бессердечная Москва! – один раз, когда Нельгин утолял жажду, какой-то взрослый болван, верзила-разносчик, снял со своей головы лоток, поставил его бережно на мостовую и равнодушно, но расчётливо ударил мальчика по затылку. Нельгин захлебнулся и едва раздышался. Был ещё один жуткий момент, когда они очутились в центре города, шли по какой-то людной, узкой, богатой улице и спросили кого-то, как пройти в Кудрино. Вежливый, на этот раз добродушный и, должно быть, честный человек сказал:

– Вам нужно вернуться назад и повернуть в следующую улицу налево. Тогда вы попадёте как следует.

Но мальчики так устали, что одно слово «назад» для них казалось страшным, и поэтому они предпочитали идти упорно и бессмысленно по прямому направлению. От Лефортова до Кудрина по карте было около восьми вёрст. Вероятно, ребятишки со всеми нелепыми кривулями сделали вёрст больше двадцати, но всё-таки они, наконец, дошли до Кудрина и нашли напротив Вдовьего дома дом и квартиру, где когда-то, года два тому назад, жила бабушка.

Сергей Фирсович и его жена были немножко удивлены позднему посещению, однако в память прекрасной покойной женщины и побеждённые красноречием Нельгина, они оказали мальчикам гостеприимство. Это им было тем легче сделать, что комната, где раньше жила бабушка (одно окно в коридор), случайно пустовала. Нельгин, усталый, изодранный, врал из последних сил:

– Мама теперь в Петровском парке. Мы туда ехали, потеряли деньги. Я и мой товарищ заблудились. Боимся поздно ночью возвращаться.

Им предложили чаю с булкой. Юрьев склонен был попить и поесть, но Нельгин был осторожен: «А вдруг догадаются, что мы ничего не ели?»

– Спасибо: мы только что пообедали.

Ах, как трудно было с Юрьевым, с этим слабовольным получеловеком, который каждую секунду готов был расплакаться. Постелили им на пол одеяло и подушку. Юрьев дрожал. Рядом Сергей Фирсович шаркал туфлями. Он служил в городской думе

писарем и раньше, ещё во времена бабушки, не без остроумия говорил о себе: «У нас в думе есть гласные и безгласные. Так я – безгласный». У него и у жены не было детей, но зато у них были шесть или семь собачонок, маленьких, чёрных, короткошёрстых, с рыжими пятнами под глазами. По утрам Сергей Фирсович читал газету, а вечером кормил собак варёной печёнкой, шаркал туфлями и что-то про себя бормотал.

Но Нельгин знал отлично, что собаки печёнку не доедают; поэтому он сказал Юрьеву:

– Теперь лежи, не шевелись. Сейчас я достану «пищу».

И, правда, ощупью в темноте он набрёл на тарелку с печёнкой (сытые собаки поворчали на него, но, обнюхав, успокоились) и принёс её Юрьеву. Должно быть, в печёнке весу было около полуфунта, но этого хватило, и затем… блаженный сон усталых тружеников, без сновидений, без просыпа…

Наступило утро. Мальчики проснулись освежённые. Нельгина не оставил дух предприимчивости, но зато в Юрьеве угас вчерашний огонь и иссякла энергия. Как настоящая тверская баба, он спросил, кривя рот и дёргая носом:

– Что мы будем делать дальше?

На это Нельгин не мог бы ответить откровенно, потому что, немного протрезвившись, он сам не знал своей дальнейшей судьбы. Он, однако, сообразил, что Сергей Фирсович сегодня ещё не шелестел газетой, но что газета уже подсунута почтальоном в дверную щёлку и что в газетах обыкновенно печатают о беглых мальчиках: стало быть, нужно было уйти до того момента, когда Сергей Фирсович развернёт свой шелестящий лист. Милый, добрый Сергей Фирсович! Да будет тебе земля пухом: ты, должно быть, о чём-то догадывался, но ни одним нескромным вопросом ты не смутил беглецов. Ты предложил им чаю. Они ответили: «Спасибо, мы очень торопимся» (этакие деловые люди!)… И отпустил их с миром.

До сей поры почти все предположения Нельгина сбылись. Теперь осталось только сесть на железную дорогу и поехать в изумительный город Наровчат к своим крепостным верноподданным. Мы все знаем, что человеческая воля иногда творит чудеса, но всё-таки нужны кое-какие знания, уверенность в себе, большой рост, громкий голос, усы и многое другое, может быть, даже и лишнее. Очутившись на улице, Юрьев заныл:

– Хочу домо-ой, в пансио-он!

– Это подло, – сказал Нельгин, зная, впрочем, в глубине души, что дело кончится сдачей. – Это свинство! Не по-товарищески! Ты же давал честное слово.

– Бою-юсь!

– Ладно, – сказал Нельгин, – только сначала сходим в зоологический сад.

– Да-а. У нас денег не-ет.

– Ничего. Ты, как я. Я знаю.

Знания его были не особенно высокого качества. Нужно было пройти новые триста шагов. Направо каланча, налево церковь Покрова, затем – налево какие-то пруды, направо – зоологический сад, между ними – мост. Нужно так: мост пройти, затем перелезть через барьер и иметь мужество прыгнуть прямо в болото до пояса: тогда ты не проходишь через контроль. Нельгин об этом слышал раньше от мальчишек, но сам он прыгал в первый раз. Вымазался весь, как чёрт. Юрьеву нечего было делать: оставаться одному было страшнее, и поэтому он сиганул вслед. С независимым видом, грязные, со следами оторванных лацканов, невыспавшиеся, они посетили и какаду и страуса, причём Нельгин стравил ему большой камень и найденный на дорожке ключ от карманных часов; посетили и слонов, и тигров, и многих птиц, и вонючих хорьков, и лис, и гиппопотама, который высовывал из густой лужи разинутую морду, похожую на чемодан с розовой подкладкой; подразнили обезьян и потрогали колючего дикобраза. Почему никто не остановил их, это до сих пор остаётся загадкой. Вероятно, всё-таки человеческая воля – это область до сих пор не исследованная.

Пришлось возвращаться назад. Юрьев перестал плакать и только подзуживал Нельгина:

– Ты скажи, что это ты затеял, а я только так.

– Хорошо.

На этот раз путь был не так долог. Помогли и бессознательная животная память местности, и дневной свет. Часам к трём пришли в училище. У ворот стояли какие-то дворники, прачки, полотёры, кухарки. Странно, что на мальчиков никто из них не обратил никакого внимания, и так они сначала не знали, в чьи правосудные руки они отдадут свою судьбу. Довольно быстро их всё-таки схватили, отвели в лазарет и рассадили в разные комнаты, со строгим запрещением видаться друг с другом. Нельгин сдержал обещание: взял всю вину на себя.

Тяжело было одиночество: ни книг, ни разговоров, и вдобавок Юрьев оказался совсем дураком: одиннадцатилетний Нельгин додумался до разговора стуком, а этот маленький старик, будущий взрослый трус, не отозвался ни одним ударом в стену. От нечего делать Нельгин вспомнил и решил почти все арифметические задачи и в уме подзубрил слова на «ять». Но вот однажды, около полудня, раздались каменные шаги в коридоре и звон колокольчиков.

«Ну! всё равно выдерут, – подумал он. – А вдруг я возьму и умру внезапно? Потом они все будут жалеть…» Словом, те мысли, которые кому только из мальчишек не приходили в голову… Он не знал того, что в это время княгиня Г. уступала своё почётное место княжне Л., и поэтому в его лазаретную каморку вошла не только его строгая начальница, но и новая владычица его души и тела, а с ними вместе пять-шесть весёлых светских барынь и почти все утлые классные дамы.

– Вот посмотрите, княжна, если угодно, – сказала княгиня. – Сокровище! Конечно, надо было бы отдать его в арестантские роты. Поглядите, какое ужасное лицо. Вот с чем вам придётся бороться, милая княжна. К нам присылают бог знает каких детей.

Но полная дама с очень милым, толстым, простым и добрым лицом возразила вежливо:

– Ну ничего: широкий лоб, зоркие глаза. Вероятно, упрямая воля. Очень возможно, что он и пропадёт, но, может быть…

– Вы смотрите через розовые очки.

– Нет, мне просто не хотелось бы начинать дело с жестокого наказания.

– Итак, княжна, вы считаете возможным допустить его к экзамену?

– Конечно, я согласна наперёд с вашим мнением, княгиня, но один маленький опыт, если позволите…

– О, конечно. Прошу вас.

– Благодарю вас. Вы очень любезны.

И они все ушли в том же порядке, как и пришли. Так как они говорили по-французски, то Нельгин ровно ничего не понял, но как мог – он всё-таки переводил разговор на свой язык. Ему казалось, что прежняя начальница сказала:

– Не выпороть ли нам этого мальчишку?

А другая сказала:

– Нет, зачем же: он такой маленький и худой…

А потом вдруг, как во всех рассказах, случилось чудо. Только затихли многочисленные женские голоса, как вдруг Нельгин услыхал лёгкие шаги. Трудно было предполагать, что эта большая, полная княжна могла идти так легко. Он слышал только два слова, брошенные ею кому-то вдоль коридора:

– Pardon, princesse…[9]

Княжна вошла в скучную больничную комнату, взяла шершавую голову мальчика двумя ладонями, приподняла её кверху, внимательно-долго поглядела ему в глаза, точно читая в них будущее Нельгина, потом погладила от лба к затылку его колючую шерсть и сказала:

– Ты, мальчик, ничего не бойся. Сейчас я тебе пришлю

куриного бульона и красного вина. Ты, видно, давно ничего не ел и совсем бледный. Только ничего не говори никому. А что экзамены ты выдержишь прекрасно, я в этом уверена.

Она уже готова была уйти, но вдруг остановилась.

– Это правда, что ты один задумал побег и уговорил товарища?

– Правда, – твёрдо сказал мальчик.

И прибавил с презрением:

– Он такая баба!

Милое, полное лицо княжны всё осветилось прелестной улыбкой.

– Ах ты дерзкий мальчишка! – сказала она ласково и погладила его по загорелой исцарапанной щеке. – Ну, хорошо, непоседа, живи как хочешь. Только не делай ничего бесчестного. Прощай, бунтарь.

Она наклонилась к нему. На мгновение, с закрытыми глазами, Нельгин уловил чистый и сладостный запах духов, почувствовал на лбу прикосновение нежных губ, и на него повеяло слабым ветром от удаляющегося платья.

Первая ласка от чужого человека. Он открыл глаза. Никого в комнате не было. Из коридора доносились затихающие звуки лёгких поспешных шагов. Нельгин прижал обе руки к середине груди и прошептал восторженно со слезами на глазах:

– Для тебя!.. Всё!

Ю-ю

Если уж слушать, Ника, то слушай внимательно. Такой уговор. Оставь, милая девочка, в покое скатерть и не заплетай бахрому в косички…

Звали её Ю-ю. Не в честь какого-нибудь китайского мандарина Ю-ю и не в память папирос Ю-ю, а просто так. Увидев её впервые маленьким котёнком, молодой человек трёх лет вытаращил глаза от удивления, вытянул губы трубочкой и произнёс: «Ю-ю». Точно свистнул. И пошло – Ю-ю.

Сначала это был только пушистый комок с двумя весёлыми глазами и бело-розовым носиком. Дремал этот комок на подоконнике, на солнце; лакал, жмурясь и мурлыча, молоко из блюдечка; ловил лапой мух на окне; катался по полу, играя бумажкой, клубком ниток, собственным хвостом… И мы сами не помним, когда это вдруг вместо чёрно-рыже-белого пушистого комка мы увидели большую, стройную, гордую кошку, первую красавицу города и предмет зависти любителей.

Ника, вынь указательный палец изо рта. Ты уже большая. Через восемь лет – невеста. Ну что, если тебе навяжется эта гадкая привычка? Приедет из-за моря великолепный принц, станет свататься, а ты вдруг – палец в рот! Вздохнёт принц тяжело и уедет прочь искать другую невесту. Только ты и увидишь издали его золотую карету с зеркальными стёклами… да пыль от колёс и копыт…

Выросла, словом, всем кошкам кошка. Тёмно-каштановая с огненными пятнами, на груди пышная белая манишка, усы в четверть аршина, шерсть длинная и вся лоснится, задние лапки в широких штанинах, хвост как ламповый ёрш!..

Ника, спусти с колен Бобика. Неужели ты думаешь, что щенячье ухо это вроде ручки от шарманки? Если бы так тебя кто-нибудь крутил за ухо? Брось, иначе не буду рассказывать.

Вот так. А самое замечательное в ней было – это её характер. Ты заметь, милая Ника: живём мы рядом со многими животными и совсем о них ничего не знаем. Просто – не интересуемся. Возьмём, например, всех собак, которых мы с тобой знали. У каждой – своя особенная душа, свои привычки, свой характер. То же у кошек. То же у лошадей. И у птиц. Совсем как у людей…

Ну скажи, видала ли ты когда-нибудь ещё такую непоседу и егозу, как ты, Ника? Зачем ты нажимаешь мизинцем на веко? Тебе кажутся две лампы? И они то съезжаются, то разъезжаются? Никогда не трогай глаз руками…

И никогда не верь тому, что тебе говорят дурного о

животных. Тебе скажут: осёл глуп. Когда человеку хотят намекнуть, что он недалёк умом, упрям и ленив, – его деликатно называют ослом. Запомни же, что, наоборот, осёл – животное не только умное, но и послушное, и приветливое, и трудолюбивое. Но если его перегрузить свыше его сил и вообразить, что он скаковая лошадь, то он просто останавливается и говорит: «Этого я не могу. Делай со мной что хочешь». И можно бить его сколько угодно – он не тронется с места. Желал бы я знать, кто в этом случае глупее и упрямее: осёл или человек? Лошадь – совсем другое дело. Она нетерпелива, нервна и обидчива. Она сделает даже то, что превышает её силы, и тут же подохнет от усердия…

Говорят ещё: глуп, как гусь… А умнее этой птицы нет на свете. Гусь знает хозяев по походке. Например, возвращаешься домой среди ночи. Идёшь по улице, отворяешь калитку, проходишь по двору – гуси молчат, точно их нет. А незнакомый вошёл во двор – сейчас же гусиный переполох: «Га-га-га! Га-га-га! Кто это шляется по чужим домам?»

А какие они… Ника, не жуй бумагу. Выплюнь… А какие они славные отцы и матери, если бы ты знала! Птенцов высиживают поочерёдно – то самка, то самец. Гусь даже добросовестнее гусыни. Если она в свой досужный час заговорится через меру с соседками у водопойного корыта, – по женскому обыкновению, – господин гусь выйдет, возьмёт её клювом за затылок и вежливо потащит домой, ко гнезду, к материнским обязанностям. Вот как-с!

И очень смешно, когда гусиное семейство изволит прогуливаться. Впереди он, хозяин и защитник. От важности и гордости клюв задрал к небу. На весь птичник глядит свысока. Но беда неопытной собаке или легкомысленной девочке вроде тебя, Ника, если вы ему не уступите дороги: сейчас же зазмеит над землёю, зашипит, как бутылка содовой воды, разинет жёсткий клюв, а назавтра Ника ходит с огромным синяком на левой ноге, ниже колена, а собачка всё трясёт ущемлённым ухом.

А за гусем – гусенята, жёлто-зелёные, как пушок на цветущем вербном барашке. Жмутся друг к дружке и пищат. Шеи у них голенькие, на ногах они не тверды – не веришь тому, что вырастут и станут, как папаша. Маменька – сзади. Ну её просто описать невозможно – такое вся она блаженство, такое торжество! «Пусть весь мир смотрит и удивляется, какой у меня замечательный муж и какие великолепные дети. Я хоть и мать и жена, но должна сказать правду: лучше на свете не сыщешь». И уж переваливается с боку на бок, уж переваливается… И вся семья гусиная – точь-в-точь как добрая немецкая фамилия на праздничной прогулке.

И отметь ещё одно, Ника: реже всего попадают под автомобили гуси и собачки таксы, похожие на крокодилов, а кто из них на вид неуклюжее – трудно даже решить.

Или, возьмём, лошадь. Что про неё говорят? Лошадь глупа. У неё только красота, способность к быстрому бегу да память мест. А так – дура дурой, кроме того ещё, что близорука, капризна, мнительна и непривязчива к человеку. Но этот вздор говорят люди, которые держат лошадь в тёмных конюшнях, которые не знают радости воспитать её с жеребячьего возраста, которые никогда не чувствовали, как лошадь благодарна тому, кто её моет, чистит, водит коваться, поит и задаёт корм. У такого человека на уме только одно: сесть на лошадь верхом и бояться, как бы она его не лягнула, не куснула, не сбросила. В голову ему не придёт освежить лошади рот, воспользоваться в пути более мягкой дорожкой, вовремя попоить умеренно, покрыть попонкой или своим пальто на стоянке… За что же лошадь будет его уважать, спрашиваю я тебя?

А ты лучше спроси у любого природного всадника о лошади, и он тебе всегда ответит: умнее, добрее, благороднее лошади нет никого, – конечно, если только она в хороших, понимающих руках.

У арабов – лучшие, какие только ни на есть, лошади. Но там лошадь – член семьи. Там на неё, как на самую верную няньку, оставляют малых детей. Уж будь спокойна, Ника, такая лошадь и скорпиона раздавит копытом, и дикого зверя залягает. А если чумазый ребятёнок уползёт на четвереньках куда-нибудь в колючие кусты, где змеи, лошадь возьмёт его нежненько за ворот рубашонки или за штанишки и оттащит к шатру: «Не лазай, дурачок, куда не следует».

И умирают иногда лошади в тоске по хозяину, и плачут настоящими слезами.

А вот как запорожские казаки пели о лошади и об убитом хозяине. Лежит он мёртвый среди поля, а

Вокруг его кобыльчина ходе,
Хвостом мух отгоняе,
В очи ему заглядае,
Пырська ему в лице.

Ну-ка? Кто из них прав? Воскресный всадник или природный?..

Ах, ты всё-таки не позабыла про кошку? Хорошо, возвращаюсь к ней. И правда: мой рассказ почти исчез в предисловии. Так, в Древней Греции был крошечный городишко с огромнейшими

городскими воротами. По этому поводу какой-то прохожий однажды пошутил: смотрите бдительно, граждане, за вашим городом, а то он, пожалуй, ускользнёт в эти ворота.

А жаль. Я бы хотел тебе рассказать ещё о многих вещах: о том, как чистоплотны и умны оклеветанные свиньи, как вороны на пять способов обманывают цепную собаку, чтобы отнять у неё кость, как верблюды… Ну ладно, долой верблюдов, давай о кошке.

Спала Ю-ю в доме, где хотела: на диванах, на коврах, на стульях, на пианино сверх нотных тетрадок. Очень любила лежать на газетах, подползши под верхний лист: в типографской краске есть что-то лакомое для кошачьего обоняния, а кроме того, бумага отлично хранит тепло.

Когда дом начинал просыпаться – первый её деловой визит бывал всегда ко мне и то лишь после того, как её чуткое ухо улавливало утренний чистый детский голосок, раздававшийся в комнате рядом со мною.

Ю-ю открывала мордочкой и лапками неплотно затворяемую дверь, входила, вспрыгивала на постель, тыкала мне в руку или в щёку розовый нос и говорила коротко: «Муррм».

За всю свою жизнь она ни разу не мяукнула, а произносила только этот довольно музыкальный звук «муррм». Но было в нём много разнообразных оттенков, выражавших то ласку, то тревогу, то требование, то отказ, то благодарность, то досаду, то укор. Короткое «муррм» всегда означало: «Иди за мной».

Она спрыгивала на пол и, не оглядываясь, шла к двери. Она не сомневалась в моём повиновении.

Я слушался. Одевался наскоро, выходил в темноватый коридор. Блестя жёлто-зелёными хризолитами глаз, Ю-ю дожидалась меня у двери, ведущей в комнату, где обычно спал четырёхлетний молодой человек со своей матерью. Я притворял её. Чуть слышное признательное «мрм», S-образное движение ловкого тела, зигзаг пушистого хвоста, – и Ю-ю скользнула в детскую.

Там – обряд утреннего здорованья. Сначала – почти официальный долг почтения – прыжок на постель к матери. «Муррм! Здравствуйте, хозяйка!» Носиком в руку, носиком в щёку, и кончено; потом прыжок на пол, прыжок через сетку в детскую кроватку. Встреча с обеих сторон нежная.

«Муррм, муррм! Здравствуй, дружок! Хорошо ли почивал?»

– Ю-юшенька! Юшенька! Восторгательная Юшенька!

И голос с другой кровати:

– Коля, сто раз тебе говорили, не смей целовать кошку! Кошка – рассадник микробов…

Конечно, здесь, за сеткой, вернейшая и нежнейшая дружба. Но всё-таки кошки и люди суть только кошки и люди. Разве Ю-ю не знает, что сейчас Катерина принесёт сливки и гречневую размазню с маслом? Должно быть, знает.

Ю-ю никогда не попрошайничает. (За услугу благодарит кротко и сердечно.) Но час прихода мальчишки из мясной и его шаги она изучила до тонкости. Если она снаружи, то непременно ждёт говядину на крыльце, а если дома – бежит навстречу говядине в кухню. Кухонную дверь она сама открывает с непостижимой ловкостью. В ней не круглая костяная ручка, как в детской, а медная, длинная. Ю-ю с разбегу подпрыгивает и виснет на ручке, обхватив её передними лапками с обеих сторон, а задними упирается в стену. Два-три толчка всем гибким телом – кляк! – ручка поддалась, и дверь отошла. Дальше – легко.

Бывает, что мальчуган долго копается, отрезая и взвешивая. Тогда от нетерпения Ю-ю зацепляется когтями за закраину стола и начинает раскачиваться вперёд и назад, как циркач на турнике. Но – молча.

Мальчуган – весёлый, румяный, смешливый ротозей. Он страстно любит всех животных, а в Ю-ю прямо влюблён. Но Ю-ю не позволяет ему даже прикоснуться к себе. Надменный взгляд – и прыжок в сторону. Она горда! Она никогда не забывает, что в её жилах течёт голубая кровь от двух ветвей: великой сибирской и державной бухарской. Мальчишка для неё – всего лишь кто-то, приносящий ей ежедневно мясо. На всё, что вне её дома, вне её покровительства и благоволения, она смотрит с царственной холодностью. Нас она милостиво приемлет.

Я любил исполнять её приказания. Вот, например, я работаю над парником, вдумчиво отщипывая у дынь лишние побеги – здесь нужен большой расчёт. Жарко от летнего солнца и от тёплой земли. Беззвучно подходит Ю-ю.

«Мрум!»

Это значит: «Идите, я хочу пить».

Разгибаюсь с трудом, Ю-ю уже впереди. Ни разу не обернётся на меня. Посмею ли я отказаться или замедлить? Она ведёт меня из огорода во двор, потом на кухню, затем по коридору в мою комнату. Учтиво отворяю я перед нею все двери и почтительно пропускаю вперёд. Придя ко мне, она легко вспрыгивает на умывальник, куда проведена живая вода, легко находит на мраморных краях три опорные точки для трёх лап – четвёртая на весу для баланса, – взглядывает на меня через ухо и говорит:

«Мрум. Пустите воду».

Я даю течь тоненькой серебряной струйке. Изящно вытянувши шею, Ю-ю поспешно лижет воду узким розовым

язычком.

Кошки пьют изредка, но долго и помногу. Иногда для шутливого опыта я слегка завинчиваю четырёхлапую никелевую рукоятку. Вода идёт по капельке.

Ю-ю недовольна. Нетерпеливо переминается в своей неудобной позе, оборачивает ко мне голову. Два жёлтых топаза смотрят на меня с серьёзным укором.

«Муррум! Бросьте ваши глупости!..»

И несколько раз тычет носом в кран.

Мне стыдно. Я прошу прощения. Пускаю воду бежать как следует.

Или ещё:

Ю-ю сидит на полу перед оттоманкой; рядом с нею газетный лист. Я вхожу. Останавливаюсь. Ю-ю смотрит на меня пристально неподвижными, немигающими глазами. Я гляжу на неё. Так проходит с минуту. Во взгляде Ю-ю я ясно читаю:

«Вы знаете, что мне нужно, но притворяетесь. Всё равно просить я не буду».

Я нагибаюсь поднять газету и тотчас слышу мягкий прыжок. Она уже на оттоманке. Взгляд стал мягче. Делаю из газеты двухскатный шалашик и прикрываю кошку. Наружу – только пушистый хвост, но и он понемногу втягивается, втягивается под бумажную крышу. Два-три раза лист хрустнул, шевельнулся – и конец. Ю-ю спит. Ухожу на цыпочках.

Бывали у меня с Ю-ю особенные часы спокойного семейного счастья. Это тогда, когда я писал по ночам: занятие довольно изнурительное, но если в него втянуться, в нём много тихой отрады.

Царапаешь, царапаешь пером, вдруг не хватает какого-то очень нужного слова. Остановился. Какая тишина! Шипит еле слышно керосин в лампе, шумит морской шум в ушах, и от этого ночь ещё тише. И все люди спят, и все звери спят, и лошади, и птицы, и дети, и Колины игрушки в соседней комнате. Даже собаки и те не лают, заснули. Косят глаза, расплываются и пропадают мысли. Где я: в дремучем лесу или на верху высокой башни? И вздрогнешь от мягкого упругого толчка. Это Ю-ю легко вскочила с пола на стол. Совсем неизвестно, когда пришла.

Поворочается немного на столе, помнётся, облюбовывая место, и сядет рядышком со мною, у правой руки, пушистым, горбатым в лопатках комком; все четыре лапки подобраны и спрятаны, только две передние бархатные перчаточки чуть-чуть высовываются наружу.

Я опять пишу быстро и с увлечением. Порою, не шевеля головою, брошу быстрый взор на кошку, сидящую ко мне в три

четверти. Ее огромный изумрудный глаз пристально устремлён на огонь, а поперёк его, сверху вниз, узкая, как лезвие бритвы, чёрная щёлочка зрачка. Но как ни мгновенно движение моих ресниц, Ю-ю успевает поймать его и повернуть ко мне свою изящную мордочку. Щёлочки вдруг превратились в блестящие чёрные круги, а вокруг них тонкие каёмки янтарного цвета. Ладно, Ю-ю, будем писать дальше.

Царапает, царапает перо. Сами собой приходят ладные, уклюжие слова. В послушном разнообразии строятся фразы. Но уже тяжелеет голова, ломит спину, начинают дрожать пальцы правой руки: того и гляди, профессиональная судорога вдруг скорчит их, и перо, как заострённый дротик, полетит через всю комнату. Не пора ли?

И Ю-ю думает, что пора. Она уже давно выдумала развлечение: следит внимательно за строками, вырастающими у меня на бумаге, водя глазами за пером, и притворяется перед самой собою, что это я выпускаю из него маленьких, чёрных, уродливых мух. И вдруг хлоп лапкой по самой последней мухе. Удар меток и быстр: чёрная кровь размазана по бумаге. Пойдём спать, Ю-юшка. Пусть мухи тоже поспят до завтрева.

За окном уже можно различить смутные очертания милого моего ясеня. Ю-ю сворачивается у меня в ногах, на одеяле.

Заболел Ю-юшкин дружок и мучитель Коля. Ох, жестока была его болезнь; до сих пор страшно вспоминать о ней. Тут только я узнал, как невероятно цепок бывает человек и какие огромные, неподозреваемые силы он может обнаружить в минуты любви и гибели.

У людей, Ника, существует много прописных истин и ходячих мнений, которые они принимают готовыми и никогда не потрудятся их проверить. Так, тебе, например, из тысячи человек девятьсот девяносто скажут: «Кошка – животное эгоистическое. Она привязывается к жилью, а не к человеку». Они не поверят, да и не посмеют поверить тому, что я сейчас расскажу про Ю-ю. Ты, я знаю, Ника, поверишь!

Кошку к больному не пускали. Пожалуй, это и было правильным. Толкнёт что-нибудь, уронит, разбудит, испугает. И её недолго надо было отучать от детской комнаты. Она скоро поняла своё положение. Но зато улеглась, как собака, на голом полу снаружи, у самой двери, уткнув свой розовый носик в щель под дверью, и так пролежала все эти чёрные дни, отлучаясь только для еды и кратковременной прогулки. Отогнать её было невозможно. Да и жалко было. Через неё шагали, заходя в детскую и уходя, её толкали ногами, наступали ей на хвост и на лапки, отшвыривали порою в спешке и нетерпении. Она только

пискнет, даст дорогу и опять мягко, но настойчиво возвращается на прежнее место. О таковом кошачьем поведении мне до этой поры не приходилось ни слышать, ни читать. На что уж доктора привыкли ничему не удивляться, но даже доктор Шевченко сказал однажды со снисходительной усмешкой:

– Комичный у вас кот. Дежурит! Это курьёзно…

Ах, Ника, для меня это вовсе не было ни комично, ни курьёзно. До сих пор у меня осталась в сердце нежная признательность к памяти Ю-ю за её звериное сочувствие…

И вот что ещё было странно. Как только в Колиной болезни за последним жестоким кризисом наступил перелом к лучшему, когда ему позволили всё есть и даже играть в постели, – кошка каким-то особенным тонким инстинктом поняла, что пустоглазая и безносая отошла от Колина изголовья, защёлкав челюстями от злости. Ю-ю оставила свой пост. Долго и бесстыдно отсыпалась она на моей кровати. Но при первом визите к Коле не обнаружила никакого волнения. Тот её мял и тискал, осыпал её всякими ласковыми именами, назвал даже от восторга почему-то Юшкевичем! Она же вывернулась ловко из его ещё слабых рук, сказала «мрм», спрыгнула на пол и ушла. Какая выдержка, чтобы не сказать: спокойное величие души!..

Дальше, милая моя Ника, я тебе расскажу о таких вещах, которым, пожалуй, и ты не поверишь. Все, кому я это ни рассказывал, слушали меня с улыбкой – немного недоверчивой, немного лукавой, немного принуждённо-учтивой. Друзья же порою говорили прямо: «Ну и фантазия у вас, у писателей! Право, позавидовать можно. Где же это слыхано и видано, чтобы кошка собиралась говорить по телефону?»

А вот собиралась-таки. Послушай, Ника, как это вышло.

Встал с постели Коля худой, бледный, зелёный; губы без цвета, глаза ввалились, ручонки на свет сквозные, чуть розоватые. Но уже говорил я тебе: великая сила и неистощимая – человеческая доброта. Удалось отправить Колю для поправки, в сопровождении матери, вёрст за двести в прекрасную санаторию. Санатория эта могла соединяться прямым проводом с Петроградом и, при некоторой настойчивости, могла даже вызвать наш дачный городишко, а там и наш домашний телефон. Это всё очень скоро сообразила Колина мама, и однажды я с живейшей радостью и даже с чудесным удивлением услышал из трубки милые голоса: сначала женский, немного усталый и деловой, потом бодрый и весёлый детский.

Ю-ю с отъездом двух своих друзей – большого и маленького – долго находилась в тревоге и недоумении. Ходила по комнатам и всё тыкалась носом в углы. Ткнётся и скажет выразительно:

«Мик!» Впервые за наше давнее знакомство я стал слышать у неё это слово. Что оно значило по-кошачьи, я не берусь сказать, но по-человечески оно ясно звучало примерно так: «Что случилось? Где они? Куда пропали?»

И она озиралась на меня широко раскрытыми жёлто-зелёными глазами; в них я читал изумление и требовательный вопрос.

Жильё она себе выбрала опять на полу, в тесном закутке между моим письменным столом и тахтою. Напрасно я звал её на мягкое кресло и на диван – она отказывалась, а когда я переносил её туда на руках, она, посидев с минутку, вежливо спрыгивала и возвращалась в свой тёмный, жёсткий, холодный угол. Странно: почему в дни огорчения она так упорно наказывала самое себя? Не хотела ли она этим примером наказать нас, близких ей людей, которые при всём их всемогуществе не могли или не хотели устранить беды и горя?

Телефонный аппарат наш помещался в крошечной передней на круглом столике, и около него стоял соломенный стул без спинки. Не помню, в какой из моих разговоров с санаторией я застал Ю-ю сидящей у моих ног; знаю только, что это случилось в самом начале. Но вскоре кошка стала прибегать на каждый телефонный звонок и, наконец, совсем перенесла своё место жилья в переднюю.

Люди вообще весьма медленно и тяжело понимают животных: животные – людей гораздо быстрее и тоньше. Я понял Ю-ю очень поздно, лишь тогда, когда однажды среди моего нежного разговора с Колей она беззвучно прыгнула с пола мне на плечи, уравновесилась и протянула вперёд из-за моей щеки свою пушистую мордочку с настороженными ушами.

Я подумал: «Слух у кошки превосходный, во всяком случае, лучше, чем у собаки, и уж гораздо острее человеческого». Очень часто, когда поздним вечером мы возвращались из гостей, Ю-ю, узнав издали наши шаги, выбегала к нам навстречу за третью перекрёстную улицу. Значит, она хорошо знала своих.

И ещё. Был у нас знакомый очень непоседливый мальчик Жоржик, четырёх лет. Посетив нас в первый раз, он очень досаждал кошке: трепал её за уши и за хвост, всячески тискал и носился с нею по комнатам, зажав её поперёк живота. Этого она терпеть не могла, хотя по своей всегдашней деликатности ни разу не выпустила когтей. Но зато каждый раз потом, когда приходил Жоржик – будь это через две недели, через месяц и даже больше, – стоило только Ю-ю услышать звонкий голосишко Жоржика, раздававшийся ещё на пороге, как она стремглав, с жалобным криком бежала спасаться: летом выпрыгивала в первое

отворённое окно, зимою ускользала под диван или под комод. Несомненно, она обладала хорошей памятью.

«Так что же мудрёного в том, – думал я, – что она узнала Колин милый голос и потянулась посмотреть: где же спрятан её любимый дружок?»

Мне очень захотелось проверить мою догадку. В тот же вечер я написал письмо в санаторию с подробным описанием кошкиного поведения и очень просил Колю, чтобы в следующий раз, говоря со мной по телефону, он непременно вспомнил и сказал в трубку все прежние ласковые слова, которые он дома говорил Ю-юшке. А я поднесу контрольную слуховую трубку к кошкиному уху.

Вскоре получил ответ, Коля очень тронут памятью Ю-ю и просит передать ей поклон. Говорить со мною из санатории будет через два дня, а на третий соберутся, уложатся и выедут домой.

И правда, на другой же день утром телефон сообщил мне, что со мной сейчас будут говорить из санатории. Ю-ю стояла рядом на полу. Я взял её к себе на колени – иначе мне трудно было бы управляться с двумя трубками. Зазвенел весёлый, свежий Колин голосок в деревянном ободке. Какое множество новых впечатлений и знакомств! Сколько домашних вопросов, просьб и распоряжений! Я едва-едва успел вставить мою просьбу:

– Дорогой Коля, я сейчас приставлю Ю-юшке к уху телефонную трубку. Готово! Говори же ей твои приятные слова.

– Какие слова? Я не знаю никаких слов, – скучно отозвался голосок.

– Коля, милый, Ю-ю тебя слушает. Скажи ей что-нибудь ласковое. Поскорее.

– Да я не зна-аю. Я не по-омню. А ты мне купишь наружный домик для птиц, как здесь у нас вешают за окна?

– Ну, Коленька, ну, золотой, ну, добрый мальчик, ты же обещал с Ю-ю поговорить.

– Да я не знаю говорить по-кошкиному. Я не умею. Я забы-ыл.

В трубке вдруг что-то щёлкнуло, крякнуло, и из неё раздался резкий голос телефонистки:

– Нельзя говорить глупости. Повесьте трубку. Другие клиенты дожидаются.

Лёгкий стук, и телефонное шипение умолкло.

Так и не удался наш с Ю-ю опыт. А жаль. Очень интересно мне было узнать, отзовётся ли наша умная кошка или нет на знакомые ей ласковые слова своим нежным «муррум».

Вот и всё про Ю-ю.

Не так давно она умерла от старости, и теперь у нас живёт кот-воркот, бархатный живот. О нём, милая моя Ника, в другой

раз.

Слон

I

Маленькая девочка нездорова. Каждый день к ней ходит доктор Михаил Петрович, которого она знает уже давно-давно. А иногда он приводит с собою ещё двух докторов, незнакомых. Они переворачивают девочку на спину и на живот, слушают что-то, приложив ухо к телу, оттягивают вниз нижнее веко и смотрят. При этом они как-то важно посапывают, лица у них строгие, и говорят они между собою на непонятном языке.

Потом переходят из детской в гостиную, где их дожидается мама. Самый главный доктор – высокий, седой, в золотых очках – рассказывает ей о чём-то серьёзно и долго. Дверь не закрыта, и девочке с её кровати всё видно и слышно. Многого она не понимает, но знает, что речь идёт о ней. Мама глядит на доктора большими, усталыми, заплаканными глазами. Прощаясь, главный доктор говорит громко:

– Главное – не давайте ей скучать. Исполняйте все её капризы.

– Ах, доктор, но она ничего не хочет!

– Ну, не знаю… вспомните, что ей нравилось раньше, до болезни. Игрушки… какие-нибудь лакомства…

– Нет, нет, доктор, она ничего не хочет…

– Ну, постарайтесь её как-нибудь развлечь… Ну, хоть чем-нибудь… Даю вам честное слово, что если вам удастся её рассмешить, развеселить, – то это будет лучшим лекарством. Поймите же, что ваша дочка больна равнодушием к жизни, и больше ничем… До свидания, сударыня!

II

– Милая Надя, милая моя девочка, – говорит мама, – не хочется ли тебе чего-нибудь?

– Нет, мама, ничего не хочется.

– Хочешь, я посажу к тебе на постельку всех твоих кукол. Мы поставим креслица, диван, столик и чайный прибор. Куклы будут пить чай и разговаривать о погоде и о здоровье своих детей.

– Спасибо, мама… Мне не хочется… Мне скучно…

– Ну, хорошо, моя девочка, не надо кукол. А может быть, позвать к тебе Катю или Женечку? Ты ведь их так любишь.

– Не надо, мама. Правда же, не надо. Я ничего, ничего не хочу. Мне так скучно!

– Хочешь, я тебе принесу шоколаду?

Но девочка не отвечает и смотрит в потолок неподвижными, невесёлыми глазами. У неё ничего не болит и даже нет жару. Но она худеет и слабеет с каждым днём. Что бы с ней ни делали, ей всё равно, и ничего ей не нужно. Так лежит она целые дни и целые ночи, тихая, печальная. Иногда она задремлет на полчаса, но и во сне ей видится что-то серое, длинное, скучное, как осенний дождик.

Когда из детской отворена дверь в гостиную, а из гостиной дальше в кабинет, то девочка видит папу. Папа ходит быстро из угла в угол и всё курит, курит. Иногда он приходит в детскую, садится на край постельки и тихо поглаживает Надины ноги. Потом вдруг встаёт и отходит к окну. Он что-то насвистывает, глядя на улицу, но плечи у него трясутся. Затем он торопливо прикладывает платок к одному глазу, к другому и, точно рассердясь, уходит к себе в кабинет. Потом он опять бегает из угла в угол и всё… курит, курит, курит… И кабинет от табачного дыма делается весь синий.

III

Но однажды утром девочка просыпается немного бодрее, чем всегда. Она что-то видела во сне, но никак не может вспомнить, что именно, и смотрит долго и внимательно в глаза матери.

– Тебе что-нибудь нужно? – спрашивает мама.

Но девочка вдруг вспоминает свой сон и говорит шёпотом, точно по секрету:

– Мама… а можно мне… слона? Только не того, который нарисован на картинке… Можно?

– Конечно, моя девочка, конечно, можно.

Она идёт в кабинет и говорит папе, что девочка хочет слона. Папа тотчас же надевает пальто и шляпу и куда-то уезжает. Через полчаса он возвращается с дорогой, красивой игрушкой. Это большой серый слон, который сам качает головою и машет хвостом; на слоне красное седло, а на седле золотая палатка и в ней сидят трое маленьких человечков. Но девочка глядит на игрушку так же равнодушно, как на потолок и на стены, и говорит вяло:

– Нет. Это совсем не то. Я хотела настоящего, живого слона, а этот мёртвый.

– Ты погляди только, Надя, – говорит папа. – Мы его сейчас

заведём, и он будет совсем, совсем как живой.

Слона заводят ключиком, и он, покачивая головой и помахивая хвостом, начинает переступать ногами и медленно идёт по столу. Девочке это совсем не интересно и даже скучно, но, чтобы не огорчить отца, она шепчет кротко:

– Я тебя очень, очень благодарю, милый папа. Я думаю, ни у кого нет такой интересной игрушки… Только… помнишь… ведь ты давно обещал свозить меня в зверинец посмотреть на настоящего слона… и ни разу не повёз…

– Но, послушай же, милая моя девочка, пойми, что это невозможно. Слон очень большой, он до потолка, он не поместится в наших комнатах… И потом, где я его достану?

– Папа, да мне не нужно такого большого… Ты мне привези хоть маленького, только живого. Ну, хоть вот, вот такого… Хоть слонёнышка.

– Милая девочка, я рад всё для тебя сделать, но этого я не могу. Ведь это всё равно как если бы ты вдруг мне сказала: папа, достань мне с неба солнце.

Девочка грустно улыбается.

– Какой ты глупый, папа. Разве я не знаю, что солнце нельзя достать, потому что оно жжётся. И луну тоже нельзя. Нет, мне бы слоника… настоящего.

И она тихо закрывает глаза и шепчет:

– Я устала… Извини меня, папа…

Папа хватает себя за волосы и убегает в кабинет. Там он некоторое время мелькает из угла в угол. Потом решительно бросает на пол недокуренную папиросу (за что ему всегда достаётся от мамы) и кричит горничной:

– Ольга! Пальто и шляпу!

В переднюю выходит жена.

– Ты куда, Саша? – спрашивает она.

Он тяжело дышит, застёгивая пуговицы пальто.

– Я сам, Машенька, не знаю куда… только, кажется, я сегодня к вечеру и в самом деле приведу сюда, к нам, настоящего слона.

Жена смотрит на него тревожно.

– Милый, здоров ли ты? Не болит ли у тебя голова? Может быть, ты плохо спал сегодня?

– Я совсем не спал, – отвечает он сердито. – Я вижу, ты хочешь спросить, не сошёл ли я с ума? Покамест нет ещё. До свиданья! Вечером всё будет видно.

И он исчезает, громко хлопнув входной дверью.

IV

Через два часа он сидит в зверинце, в первом ряду, и смотрит, как учёные звери по приказанию хозяина выделывают разные штуки. Умные собаки прыгают, кувыркаются, танцуют, поют под музыку, складывают слова из больших картонных букв. Обезьянки – одни в красных юбках, другие в синих штанишках – ходят по канату и ездят верхом на большом пуделе. Огромные рыжие львы скачут сквозь горящие обручи. Неуклюжий тюлень стреляет из пистолета. Под конец выводят слонов. Их три: один большой, два совсем маленькие, карлики, но всё-таки ростом куда больше, чем лошадь. Странно смотреть, как эти громадные животные, на вид такие неповоротливые и тяжёлые, исполняют самые трудные фокусы, которые не под силу и очень ловкому человеку. Особенно отличается самый большой слон. Он становится сначала на задние лапы, садится, становится на голову, ногами вверх, ходит по деревянным бутылкам, ходит по катящейся бочке, переворачивает хоботом страницы большой картонной книги и, наконец, садится за стол и, повязавшись салфеткой, обедает, совсем как благовоспитанный мальчик.

Представление оканчивается. Зрители расходятся. Надин отец подходит к толстому немцу, хозяину зверинца. Хозяин стоит за дощатой перегородкой и держит во рту большую чёрную сигару.

– Извините, пожалуйста, – говорит Надин отец. – Не можете ли вы отпустить вашего слона ко мне домой на некоторое время?

Немец от удивления широко открывает глаза и даже рот, отчего сигара падает на землю. Он, кряхтя, нагибается, подымает сигару, вставляет её опять в рот и только тогда произносит:

– Отпустить? Слона? Домой? Я вас не понимаю.

По глазам немца видно, что он тоже хочет спросить, не болит ли у Надиного отца голова… Но отец поспешно объясняет, в чём дело: его единственная дочь, Надя, больна какой-то странной болезнью, которой даже доктора не понимают как следует. Она лежит уж месяц в кроватке, худеет, слабеет с каждым днём, ничем не интересуется, скучает и потихоньку гаснет. Доктора велят её развлекать, но ей ничто не нравится; велят исполнять все её желания, но у неё нет никаких желаний. Сегодня она захотела видеть живого слона. Неужели это невозможно сделать?

И он добавляет дрожащим голосом, взявши немца за пуговицу пальто:

– Ну вот… Я, конечно, надеюсь, что моя девочка выздоровеет. Но… спаси Бог… вдруг её болезнь окончится плохо… вдруг девочка умрёт?.. Подумайте только: ведь меня всю жизнь будет мучить мысль, что я не исполнил её последнего желания!..

Немец хмурится и в раздумье чешет мизинцем левую бровь.

Наконец он спрашивает:

– Гм… А сколько вашей девочке лет?

– Шесть.

– Гм… Моей Лизе тоже шесть. Гм… Но, знаете, вам это будет дорого стоить. Придётся привести слона ночью и только на следующую ночь увести обратно. Днём нельзя. Соберётся публикум, и сделается один скандал… Таким образом выходит, что я теряю целый день, и вы мне должны возвратить убыток.

– О, конечно, конечно… не беспокойтесь об этом…

– Потом: позволит ли полиция водить один слон в один дом?

– Я это устрою. Позволит.

– Ещё один вопрос: позволит ли хозяин вашего дома вводить в свой дом один слон?

– Позволит. Я сам хозяин этого дома.

– Ага! Это ещё лучше. И потом ещё один вопрос: в котором этаже вы живёте?

– Во втором.

– Гм… Это уже не так хорошо… Имеете ли вы в своём доме широкую лестницу, высокий потолок, большую комнату, широкие двери и очень крепкий пол? Потому что мой Томми имеет высоту три аршина и четыре вершка, а в длину четыре аршин. Кроме того, он весит сто двенадцать пудов.

Надин отец задумывается на минуту.

– Знаете ли что? – говорит он. – Поедем сейчас ко мне и рассмотрим всё на месте. Если надо, я прикажу расширить проход в стенах.

– Очень хорошо! – соглашается хозяин зверинца.

V

Ночью слона ведут в гости к больной девочке.

В белой попоне он важно шагает по самой середине улицы, покачивает головой и то свивает, то развивает хобот. Вокруг него, несмотря на поздний час, большая толпа. Но слон не обращает на неё внимания: он каждый день видит сотни людей в зверинце. Только один раз он немного рассердился.

Какой-то уличный мальчишка подбежал к нему под самые ноги и начал кривляться на потеху зевакам.

Тогда слон спокойно снял с него хоботом шляпу и перекинул её через соседний забор, утыканный гвоздями.

Городовой идёт среди толпы и уговаривает её:

– Господа, прошу разойтись. И что вы тут находите такого необыкновенного? Удивляюсь! Точно не видали никогда живого

слона на улице.

Подходят к дому. На лестнице, так же как и по всему пути слона, до самой столовой, все двери растворены настежь, для чего приходилось отбивать молотком дверные щеколды. Точно так же делалось однажды, когда в дом вносили большую чудотворную икону.

Но перед лестницей слон останавливается в беспокойстве и упрямится.

– Надо дать ему какое-нибудь лакомство… – говорит немец. – Какой-нибудь сладкий булка или что… Но… Томми!.. Ого-го!.. Томми!

Надин отец бежит в соседнюю булочную и покупает большой круглый фисташковый торт. Слон обнаруживает желание проглотить его целиком вместе с картонной коробкой, но немец даёт ему всего четверть. Торт приходится по вкусу Томми, и он протягивает хобот за вторым ломтём. Однако немец оказывается хитрее. Держа в руке лакомство, он подымается вверх со ступеньки на ступеньку, и слон с вытянутым хоботом, с растопыренными ушами поневоле следует за ним. На площадке Томми получает второй кусок.

Таким образом его приводят в столовую, откуда заранее вынесена вся мебель, а пол густо застлан соломой… Слона привязывают за ногу к кольцу, ввинченному в пол. Кладут перед ним свежей моркови, капусты и репы. Немец располагается рядом, на диване. Тушат огни, и все ложатся спать.

VI

На другой день девочка просыпается чуть свет и прежде всего спрашивает:

– А что же слон? Он пришёл?

– Пришёл, – отвечает мама, – но только он велел, чтобы Надя сначала умылась, а потом съела яйцо всмятку и выпила горячего молока.

– А он добрый?

– Он добрый. Кушай, девочка. Сейчас мы пойдём к нему.

– А он смешной?

– Немножко. Надень тёплую кофточку.

Яйцо быстро съедено, молоко выпито. Надю сажают в ту самую колясочку, в которой она ездила, когда была ещё такой маленькой, что совсем не умела ходить, и везут в столовую.

Слон оказывается гораздо больше, чем думала Надя, когда разглядывала его на картинке. Ростом он только чуть-чуть

пониже двери, а в длину занимает половину столовой. Кожа на нём грубая, в тяжёлых складках. Ноги толстые, как столбы. Длинный хвост с чем-то вроде помела на конце. Голова в больших шишках. Уши большие, как лопухи, и висят вниз. Глаза совсем крошечные, но умные и добрые. Клыки обрезаны. Хобот – точно длинная змея и оканчивается двумя ноздрями, а между ними подвижной, гибкий палец. Если бы слон вытянул хобот во всю длину, то наверно достал бы он им до окна.

Девочка вовсе не испугана. Она только немножко поражена громадной величиной животного. Зато нянька, шестнадцатилетняя Поля, начинает визжать от страха.

Хозяин слона, немец, подходит к колясочке и говорит:

– Доброго утра, барышня. Пожалуйста, не бойтесь. Томми очень добрый и любит детей.

Девочка протягивает немцу свою маленькую бледную ручку.

– Здравствуйте, как вы поживаете? – отвечает она. – Я вовсе ни капельки не боюсь. А как его зовут?

– Томми.

– Здравствуйте, Томми, – произносит девочка и кланяется головой. Оттого, что слон такой большой, она не решается говорить ему на «ты». – Как вы спали эту ночь?

Она и ему протягивает руку. Слон осторожно берёт и пожимает её тоненькие пальчики своим подвижным сильным пальцем и делает это гораздо нежнее, чем доктор Михаил Петрович. При этом слон качает головой, а его маленькие глаза совсем сузились, точно смеются.

– Ведь он всё понимает? – спрашивает девочка немца.

– О, решительно всё, барышня!

– Но только он не говорит?

– Да, вот только не говорит. У меня, знаете, есть тоже одна дочка, такая же маленькая, как и вы. Её зовут Лиза. Томми с ней большой, очень большой приятель.

– А вы, Томми, уже пили чай? – спрашивает девочка слона.

Слон опять вытягивает хобот и дует в самое лицо девочки тёплым сильным дыханием, отчего лёгкие волосы на голове девочки разлетаются во все стороны.

Надя хохочет и хлопает в ладоши. Немец густо смеётся. Он сам такой большой, толстый и добродушный, как слон, и Наде кажется, что они оба похожи друг на друга. Может быть, они родня?

– Нет, он не пил чаю, барышня. Но он с удовольствием пьёт сахарную воду. Также он очень любит булки.

Приносят поднос с булками. Девочка угощает слона. Он ловко захватывает булку своим пальцем и, согнув хобот кольцом,

прячет её куда-то вниз под голову, где у него движется смешная, треугольная, мохнатая нижняя губа. Слышно, как булка шуршит о сухую кожу. То же самое Томми проделывает с другой булкой, и с третьей, и с четвёртой, и с пятой и в знак благодарности кивает головой, и его маленькие глазки ещё больше суживаются от удовольствия. А девочка радостно хохочет.

Когда все булки съедены, Надя знакомит слона со своими куклами:

– Посмотрите, Томми, вот эта нарядная кукла – это Соня. Она очень добрый ребёнок, но немножко капризна и не хочет есть суп. А это Наташа – Сонина дочь. Она уже начинает учиться и знает почти все буквы. А вот это – Матрёшка. Это моя самая первая кукла. Видите, у неё нет носа, и голова приклеена, и нет больше волос. Но всё-таки нельзя же выгонять из дому старушку. Правда, Томми? Она раньше была Сониной матерью, а теперь служит у нас кухаркой. Ну, так давайте играть, Томми: вы будете папой, а я мамой, а это будут наши дети.

Томми согласен. Он смеётся, берёт Матрёшку за шею и тащит к себе в рот. Но это только шутка. Слегка пожевав куклу, он опять кладет её девочке на колени, правда, немного мокрую и помятую.

Потом Надя показывает ему большую книгу с картинками и объясняет:

– Это лошадь, это канарейка, это ружьё… Вот клетка с птичкой, вот ведро, зеркало, печка, лопата, ворона… А это вот, посмотрите, это слон! Правда, совсем не похоже? Разве же слоны бывают такие маленькие, Томми?

Томми находит, что таких маленьких слонов никогда не бывает на свете. Вообще ему эта картинка не нравится. Он захватывает пальцем край страницы и переворачивает её.

Наступает час обеда, но девочку никак нельзя оторвать от слона. На помощь приходит немец:

– Позвольте, я всё это устрою. Они пообедают вместе.

Он приказывает слону сесть. Слон послушно садится, отчего пол во всей квартире сотрясается и дребезжит посуда в шкафу, а у нижних жильцов сыплется с потолка штукатурка. Напротив его садится девочка. Между ними ставят стол. Слону подвязывают скатерть вокруг шеи, и новые друзья начинают обедать. Девочка ест суп из курицы и котлетку, а слон – разные овощи и салат. Девочке дают крошечную рюмку хересу, а слону – тёплой воды со стаканом рома, и он с удовольствием вытягивает этот напиток хоботом из миски. Затем они получают сладкое – девочка чашку какао, а слон половину торта, на этот раз орехового. Немец в это время сидит с папой в гостиной и с таким же наслаждением, как и слон, пьёт пиво, только в большем количестве.

После обеда приходят какие-то папины знакомые, их ещё в передней предупреждают о слоне, чтобы они не испугались. Сначала они не верят, а потом, увидев Томми, жмутся к дверям.

– Не бойтесь, он добрый! – успокаивает их девочка.

Но знакомые поспешно уходят в гостиную и, не просидев и пяти минут, уезжают.

Наступает вечер. Поздно. Девочке пора спать. Однако её невозможно оттащить от слона. Она так и засыпает около него, и её уже сонную отвозят в детскую. Она даже не слышит, как её раздевают.

В эту ночь Надя видит во сне, что она женилась на Томми, и у них много детей, маленьких, весёлых слоняток. Слон, которого ночью отвели в зверинец, тоже видит во сне милую, ласковую девочку. Кроме того, ему снятся большие торты, ореховые и фисташковые, величиною с ворота…

Утром девочка просыпается бодрая, свежая и, как в прежние времена, когда она была ещё здорова, кричит на весь дом, громко и нетерпеливо:

– Мо-лоч-ка!

Услышав этот крик, мама радостно крестится у себя в спальне.

Но девочка тут же вспоминает о вчерашнем и спрашивает:

– А слон?

Ей объясняют, что слон ушёл домой по делам, что у него есть дети, которых нельзя оставлять одних, что он просил кланяться Наде и что он ждет её к себе в гости, когда она будет здорова.

Девочка хитро улыбается и говорит:

– Передайте Томми, что я уже совсем здорова!

Чудесный доктор

Следующий рассказ не есть плод досужего вымысла. Всё описанное мною действительно произошло в Киеве лет около тридцати тому назад и до сих пор свято, до мельчайших подробностей, сохраняется в преданиях того семейства, о котором пойдёт речь. Я, с своей стороны, лишь изменил имена некоторых действующих лиц этой трогательной истории да придал устному рассказу письменную форму.

– Гриш, а Гриш! Гляди-ка, поросёнок-то… Смеётся… Да-а. А во рту-то у него!.. Смотри, смотри… травка во рту, ей-богу, травка!.. Вот штука-то!

И двое мальчуганов, стоящих перед огромным, из цельного стекла, окном гастрономического магазина, принялись неудержимо хохотать, толкая друг друга в бок локтями, но невольно приплясывая от жестокой стужи. Они уже более пяти минут торчали перед этой великолепной выставкой, возбуждавшей в одинаковой степени их умы и желудки. Здесь, освещённые ярким светом висящих ламп, возвышались целые горы красных крепких яблоков и апельсинов; стояли правильные пирамиды мандаринов, нежно золотившихся сквозь окутывающую их папиросную бумагу; протянулись на блюдах, уродливо разинув рты и выпучив глаза, огромные копчёные и маринованные рыбы; ниже, окружённые гирляндами колбас, красовались сочные разрезанные окорока с толстым слоем розоватого сала… Бесчисленное множество баночек и коробочек с солёными, варёными и копчёными закусками довершало эту эффектную картину, глядя на которую оба мальчика на минуту забыли о двенадцатиградусном морозе и о важном поручении, возложенном на них матерью, – поручении, окончившемся так неожиданно и так плачевно.

Старший мальчик первый оторвался от созерцания очаровательного зрелища. Он дёрнул брата за рукав и произнёс сурово:

– Ну, Володя, идём, идём… Нечего тут…

Одновременно подавив тяжёлый вздох (старшему из них было только десять лет, и к тому же оба с утра ничего не ели, кроме пустых щей) и кинув последний влюблённо-жадный взгляд на гастрономическую выставку, мальчуганы торопливо побежали по улице. Иногда сквозь запотевшие окна какого-нибудь дома они видели ёлку, которая издали казалась громадной гроздью ярких, сияющих пятен, иногда они слышали даже звуки весёлой польки… Но они мужественно гнали от себя прочь

соблазнительную мысль: остановиться на несколько секунд и прильнуть глазком к стеклу.

По мере того как шли мальчики, всё малолюднее и темнее становились улицы. Прекрасные магазины, сияющие ёлки, рысаки, мчавшиеся под своими синими и красными сетками, визг полозьев, праздничное оживление толпы, весёлый гул окриков и разговоров, разрумяненные морозом смеющиеся лица нарядных дам – всё осталось позади. Потянулись пустыри, кривые, узкие переулки, мрачные, неосвещённые косогоры… Наконец они достигли покосившегося ветхого дома, стоявшего особняком; низ его – собственно подвал – был каменный, а верх – деревянный. Обойдя тесным, обледенелым и грязным двором, служившим для всех жильцов естественной помойной ямой, они спустились вниз, в подвал, прошли в темноте общим коридором, отыскали ощупью свою дверь и отворили ёе.

Уже более года жили Мерцаловы в этом подземелье. Оба мальчугана давно успели привыкнуть и к этим закоптелым, плачущим от сырости стенам, и к мокрым отрёпкам, сушившимся на протянутой через комнату верёвке, и к этому ужасному запаху керосинового чада, детского грязного белья и крыс – настоящему запаху нищеты. Но сегодня, после всего, что они видели на улице, после этого праздничного ликования, которое они чувствовали повсюду, их маленькие детские сердца сжались от острого, недетского страдания. В углу, на грязной широкой постели, лежала девочка лет семи; её лицо горело, дыхание было коротко и затруднительно, широко раскрытые блестящие глаза смотрели пристально и бесцельно. Рядом с постелью, в люльке, привешенной к потолку, кричал, морщась, надрываясь и захлёбываясь, грудной ребёнок. Высокая, худая женщина, с измождённым, усталым, точно почерневшим от горя лицом, стояла на коленях около больной девочки, поправляя ей подушку и в то же время не забывая подталкивать локтем качающуюся колыбель. Когда мальчики вошли и следом за ними стремительно ворвались в подвал белые клубы морозного воздуха, женщина обернула назад своё встревоженное лицо.

– Ну? Что же? – спросила она отрывисто и нетерпеливо.

Мальчики молчали. Только Гриша шумно вытер нос рукавом своего пальто, переделанного из старого ватного халата.

– Отнесли вы письмо?.. Гриша, я тебя спрашиваю, отдал ты письмо?

– Отдал, – сиплым от мороза голосом ответил Гриша.

– Ну, и что же? Что ты ему сказал?

– Да всё, как ты учила. Вот, говорю, от Мерцалова письмо, от вашего бывшего управляющего. А он нас обругал: «Убирайтесь вы,

говорит, отсюда… Сволочи вы…»

– Да кто же это? Кто же с вами разговаривал?.. Говори толком, Гриша!

– Швейцар разговаривал… Кто же ещё? Я ему говорю: «Возьмите, дяденька, письмо, передайте, а я здесь внизу ответа подожду». А он говорит: «Как же, говорит, держи карман… Есть тоже у барина время ваши письма читать…»

– Ну, а ты?

– Я ему всё, как ты учила, сказал: «Есть, мол, нечего… Машутка больна… Помирает…» Говорю: «Как папа место найдёт, так отблагодарит вас, Савелий Петрович, ей-богу, отблагодарит». Ну, а в это время звонок как зазвонит, как зазвонит, а он нам и говорит: «Убирайтесь скорее отсюда к чёрту! Чтобы духу вашего здесь не было!..» А Володьку даже по затылку ударил.

– А меня он по затылку, – сказал Володя, следивший со вниманием за рассказом брата, и почесал затылок.

Старший мальчик вдруг принялся озабоченно рыться в глубоких карманах своего халата. Вытащив наконец оттуда измятый конверт, он положил его на стол и сказал:

– Вот оно, письмо-то…

Больше мать не расспрашивала. Долгое время в душной, промозглой комнате слышался только неистовый крик младенца да короткое, частое дыхание Машутки, больше похожее на беспрерывные однообразные стоны. Вдруг мать сказала, обернувшись назад:

– Там борщ есть, от обеда остался… Может, поели бы? Только холодный, – разогреть-то нечем…

В это время в коридоре послышались чьи-то неуверенные шаги и шуршание руки, отыскивающей в темноте дверь. Мать и оба мальчика – все трое даже побледнев от напряжённого ожидания – обернулись в эту сторону.

Вошел Мерцалов. Он был в летнем пальто, летней войлочной шляпе и без калош. Его руки взбухли и посинели от мороза, глаза провалились, щёки облипли вокруг дёсен, точно у мертвеца. Он не сказал жене ни одного слова, она ему не задала ни одного вопроса. Они поняли друг друга по тому отчаянию, которое прочли друг у друга в глазах.

В этот ужасный, роковой год несчастье за несчастьем настойчиво и безжалостно сыпались на Мерцалова и его семью. Сначала он сам заболел брюшным тифом, и на его лечение ушли все их скудные сбережения. Потом, когда он поправился, он узнал, что его место, скромное место управляющего домом на двадцать пять рублей в месяц, занято уже другим… Началась отчаянная, судорожная погоня за случайной работой, за

перепиской, за ничтожным местом, залог и перезалог вещей, продажа всякого хозяйственного тряпья. А тут ещё пошли болеть дети. Три месяца тому назад умерла одна девочка, теперь другая лежит в жару и без сознания. Елизавете Ивановне приходилось одновременно ухаживать за больной девочкой, кормить грудью маленького и ходить почти на другой конец города в дом, где она подённо стирала бельё.

Весь сегодняшний день был занят тем, чтобы посредством нечеловеческих усилий выжать откуда-нибудь хоть несколько копеек на лекарство Машутке. С этой целью Мерцалов обегал чуть ли не полгорода, клянча и унижаясь повсюду; Елизавета Ивановна ходила к своей барыне, дети были посланы с письмом к тому барину, домом которого управлял раньше Мерцалов… Но все отговаривались или праздничными хлопотами, или неимением денег… Иные, как, например, швейцар бывшего патрона, просто-напросто гнали просителей с крыльца.

Минут десять никто не мог произнести ни слова. Вдруг Мерцалов быстро поднялся с сундука, на котором он до сих пор сидел, и решительным движением надвинул глубже на лоб свою истрёпанную шляпу.

– Куда ты? – тревожно спросила Елизавета Ивановна.

Мерцалов, взявшийся уже за ручку двери, обернулся.

– Всё равно, сидением ничего не поможешь, – хрипло ответил он. – Пойду ещё… Хоть милостыню попробую просить.

Выйдя на улицу, он пошёл бесцельно вперёд. Он ничего не искал, ни на что не надеялся. Он давно уже пережил то жгучее время бедности, когда мечтаешь найти на улице бумажник с деньгами или получить внезапно наследство от неизвестного троюродного дядюшки. Теперь им овладело неудержимое желание бежать куда попало, бежать без оглядки, чтобы только не видеть молчаливого отчаяния голодной семьи.

Просить милостыни? Он уже попробовал это средство сегодня два раза. Но в первый раз какой-то господин в енотовой шубе прочёл ему наставление, что надо работать, а не клянчить, а во второй – его обещали отправить в полицию.

Незаметно для себя Мерцалов очутился в центре города, у ограды густого общественного сада. Так как ему пришлось всё время идти в гору, то он запыхался и почувствовал усталость. Машинально он свернул в калитку и, пройдя длинную аллею лип, занесённых снегом, опустился на низкую садовую скамейку.

Тут было тихо и торжественно. Деревья, окутанные в свои белые ризы, дремали в неподвижном величии. Иногда с верхней ветки срывался кусочек снега, и слышно было, как он шуршал, падая и цепляясь за другие ветви. Глубокая тишина и великое

спокойствие, сторожившие сад, вдруг пробудили в истерзанной душе Мерцалова нестерпимую жажду такого же спокойствия, такой же тишины.

«Вот лечь бы и заснуть, – думал он, – и забыть о жене, о голодных детях, о больной Машутке». Просунув руку под жилет, Мерцалов нащупал довольно толстую верёвку, служившую ему поясом. Мысль о самоубийстве совершенно ясно встала в его голове. Но он не ужаснулся этой мысли, ни на мгновение не содрогнулся перед мраком неизвестного.

«Чем погибать медленно, так не лучше ли избрать более краткий путь?» Он уже хотел встать, чтобы исполнить своё страшное намерение, но в это время в конце аллеи послышался скрип шагов, отчётливо раздавшийся в морозном воздухе. Мерцалов с озлоблением обернулся в эту сторону. Кто-то шёл по аллее. Сначала был виден огонёк то вспыхивающей, то потухающей сигары. Потом Мерцалов мало-помалу мог разглядеть старика небольшого роста, в тёплой шапке, меховом пальто и высоких калошах. Поравнявшись со скамейкой, незнакомец вдруг круто повернул в сторону Мерцалова и, слегка дотрагиваясь до шапки, спросил:

– Вы позволите здесь присесть?

Мерцалов умышленно резко отвернулся от незнакомца и подвинулся к краю скамейки. Минут пять прошло в обоюдном молчании, в продолжение которого незнакомец курил сигару и (Мерцалов это чувствовал) искоса наблюдал за своим соседом.

– Ночка-то какая славная, – заговорил вдруг незнакомец. – Морозно… тихо. Что за прелесть – русская зима!

Голос у него был мягкий, ласковый, старческий. Мерцалов молчал, не оборачиваясь.

– А я вот ребятишкам знакомым подарочки купил, – продолжал незнакомец (в руках у него было несколько свёртков). – Да вот по дороге не утерпел, сделал круг, чтобы садом пройти: очень уж здесь хорошо.

Мерцалов вообще был кротким и застенчивым человеком, но при последних словах незнакомца его охватил вдруг прилив отчаянной злобы. Он резким движением повернулся в сторону старика и закричал, нелепо размахивая руками и задыхаясь:

– Подарочки!.. Подарочки!.. Знакомым ребятишкам подарочки!.. А я… а у меня, милостивый государь, в настоящую минуту мои ребятишки с голоду дома подыхают… Подарочки!.. А у жены молоко пропало, и грудной ребёнок целый день не ел… Подарочки!..

Мерцалов ожидал, что после этих беспорядочных, озлобленных криков старик поднимется и уйдёт, но он ошибся.

Старик приблизил к нему своё умное, серьёзное лицо с седыми баками и сказал дружелюбно, но серьёзным тоном:

– Подождите… не волнуйтесь! Расскажите мне всё по порядку и как можно короче. Может быть, вместе мы придумаем что-нибудь для вас.

В необыкновенном лице незнакомца было что-то до того спокойное и внушающее доверие, что Мерцалов тотчас же без малейшей утайки, но страшно волнуясь и спеша, передал свою историю. Он рассказал о своей болезни, о потере места, о смерти ребёнка, обо всех своих несчастиях, вплоть до нынешнего дня. Незнакомец слушал, не перебивая его ни словом, и только всё пытливее и пристальнее заглядывал в его глаза, точно желая проникнуть в самую глубь этой наболевшей, возмущённой души. Вдруг он быстрым, совсем юношеским движением вскочил с своего места и схватил Мерцалова за руку. Мерцалов невольно тоже встал.

– Едемте! – сказал незнакомец, увлекая за руку Мерцалова. – Едемте скорее!.. Счастье ваше, что вы встретились с врачом. Я, конечно, ни за что не могу ручаться, но… поедемте!

Минут через десять Мерцалов и доктор уже входили в подвал. Елизавета Ивановна лежала на постели рядом со своей больной дочерью, зарывшись лицом в грязные, замаслившиеся подушки. Мальчишки хлебали борщ, сидя на тех же местах. Испуганные долгим отсутствием отца и неподвижностью матери, они плакали, размазывая слёзы по лицу грязными кулаками и обильно проливая их в закопчённый чугунок. Войдя в комнату, доктор скинул с себя пальто и, оставшись в старомодном, довольно поношенном сюртуке, подошёл к Елизавете Ивановне. Она даже не подняла головы при его приближении.

– Ну, полно, полно, голубушка, – заговорил доктор, ласково погладив женщину по спине. – Вставайте-ка! Покажите мне вашу больную.

И точно так же, как недавно в саду, что-то ласковое и убедительное, звучавшее в его голосе, заставило Елизавету Ивановну мигом подняться с постели и беспрекословно исполнить всё, что говорил доктор. Через две минуты Гришка уже растапливал печку дровами, за которыми чудесный доктор послал к соседям, Володя раздувал изо всех сил самовар, Елизавета Ивановна обворачивала Машутку согревающим компрессом… Немного погодя явился и Мерцалов. На три рубля, полученные от доктора, он успел купить за это время чаю, сахару, булок и достать в ближайшем трактире горячей пищи. Доктор сидел за столом и что-то писал на клочке бумажки, который он вырвал из записной книжки. Окончив это занятие и изобразив

внизу какой-то своеобразный крючок вместо подписи, он встал, прикрыл написанное чайным блюдечком и сказал:

– Вот с этой бумажкой вы пойдёте в аптеку… давайте через два часа по чайной ложке. Это вызовет у малютки отхаркивание… Продолжайте согревающий компресс… Кроме того, хотя бы вашей дочери и сделалось лучше, во всяком случае пригласите завтра доктора Афросимова. Это дельный врач и хороший человек. Я его сейчас же предупрежу. Затем прощайте, господа! Дай Бог, чтобы наступающий год немного снисходительнее отнёсся к вам, чем этот, а главное – не падайте никогда духом.

Пожав руки Мерцалову и Елизавете Ивановне, всё ещё не оправившимся от изумления, и потрепав мимоходом по щеке разинувшего рот Володю, доктор быстро всунул свои ноги в глубокие калоши и надел пальто. Мерцалов опомнился только тогда, когда доктор уже был в коридоре, и кинулся вслед за ним.

Так как в темноте нельзя было ничего разобрать, то Мерцалов закричал наугад:

– Доктор! Доктор, постойте!.. Скажите мне ваше имя, доктор! Пусть хоть мои дети будут за вас молиться!

И он водил в воздухе руками, чтобы поймать невидимого доктора. Но в это время в другом конце коридора спокойный старческий голос произнёс:

– Э! Вот ещё пустяки выдумали!.. Возвращайтесь-ка домой скорей!

Когда он возвратился, его ожидал сюрприз: под чайным блюдцем вместе с рецептом чудесного доктора лежало несколько крупных кредитных билетов…

В тот же вечер Мерцалов узнал и фамилию своего неожиданного благодетеля. На аптечном ярлыке, прикреплённом к пузырьку с лекарством, чёткою рукою аптекаря было написано: «По рецепту профессора Пирогова».

Я слышал этот рассказ, и неоднократно, из уст самого Григория Емельяновича Мерцалова – того самого Гришки, который в описанный мною сочельник проливал слёзы в закоптелый чугунок с пустым борщом. Теперь он занимает довольно крупный, ответственный пост в одном из банков, слывя образцом честности и отзывчивости на нужды бедности. И каждый раз, заканчивая своё повествование о чудесном докторе, он прибавляет голосом, дрожащим от скрываемых слёз:

– С этих пор точно благодетельный ангел снизошёл в нашу семью. Всё переменилось. В начале января отец отыскал место, Машутка встала на ноги, меня с братом удалось пристроить в гимназию на казённый счёт. Просто чудо совершил этот святой человек. А мы нашего чудесного доктора только раз видели с тех

пор – это когда его перевозили мёртвого в его собственное имение Вишню. Да и то не его видели, потому что то великое, мощное и святое, что жило и горело в чудесном докторе при его жизни, угасло невозвратимо.

ТапЁр

Двенадцатилетняя Тиночка Руднева влетела, как разрывная бомба, в комнату, где её старшие сёстры одевались с помощью двух горничных к сегодняшнему вечеру. Взволнованная, запыхавшаяся, с разлетевшимися кудряшками на лбу, вся розовая от быстрого бега, она была в эту минуту похожа на хорошенького мальчишку.

– Mesdames, а где же тапёр? Я спрашивала у всех в доме, и никто ничего не знает. Тот говорит – мне не приказывали, тот говорит – это не моё дело… У нас постоянно, постоянно так, – горячилась Тиночка, топая каблуком о пол. – Всегда что-нибудь перепутают, забудут и потом начинают сваливать друг на друга…

Самая старшая из сестёр, Лидия Аркадьевна, стояла перед трюмо. Повернувшись боком к зеркалу и изогнув назад свою прекрасную обнажённую шею, она, слегка прищуривая близорукие глаза, закалывала в волосы чайную розу. Она не выносила никакого шума и относилась к «мелюзге» с холодным и вежливым презрением. Взглянув на отражение Тины в зеркале, она заметила с неудовольствием:

– Больше всего в доме беспорядка делаешь, конечно, ты, – сколько раз я тебя просила, чтобы ты не вбегала, как сумасшедшая, в комнаты.

Тина насмешливо присела и показала зеркалу язык. Потом она обернулась к другой сестре, Татьяне Аркадьевне, около которой возилась на полу модистка, подмётывая на живую нитку низ голубой юбки, и затараторила:

– Ну, понятно, что от нашей Несмеяны-царевны ничего, кроме наставлений, не услышишь. Танечка, голубушка, как бы ты там всё это устроила. Меня никто не слушается, только смеются, когда я говорю… Танечка, пойдём, пожалуйста, а то ведь скоро шесть часов, через час и ёлку будем зажигать…

Тина только в этом году была допущена к устройству ёлки. Не далее как на прошлое Рождество её в это время запирали с младшей сестрой Катей и с её сверстницами в детскую, уверяя, что в зале нет никакой ёлки, а что «просто только пришли полотёры». Поэтому понятно, что теперь, когда Тина получила особые привилегии, равнявшие её некоторым образом со старшими сёстрами, она волновалась больше всех, хлопотала и бегала за десятерых, попадаясь ежеминутно кому-нибудь под ноги, и только усиливала общую суету, царившую обыкновенно на праздниках в рудневском доме.

Семья Рудневых принадлежала к одной из самых

безалаберных, гостеприимных и шумных московских семей, обитающих испокон века в окрестностях Пресни, Новинского и Конюшков и создавших когда-то Москве её репутацию хлебосольного города. Дом Рудневых – большой ветхий дом доекатерининской постройки, со львами на воротах, с широким подъездным двором и с массивными белыми колоннами у парадного, – круглый год с утра до поздней ночи кишел народом. Приезжали без всякого предупреждения, «сюрпризом», какие-то соседи по наровчатскому или инсарскому имению, какие-то дальние родственники, которых до сих пор никто в глаза не видал и не слыхал об их существовании, – и гостили по месяцам. К Аркаше и Мите десятками ходили товарищи, менявшие с годами свою оболочку, сначала гимназистами и кадетами, потом юнкерами и студентами и, наконец, безусыми офицерами или щеголеватыми, преувеличенно серьёзными помощниками присяжных поверенных. Девочек постоянно навещали подруги всевозможных возрастов, начиная от Катиных сверстниц, приводивших с собою в гости своих кукол, и кончая приятельницами Лидии, которые говорили о Марксе и об аграрной системе и вместе с Лидией стремились на Высшие женские курсы. На праздниках, когда вся эта весёлая, задорная молодёжь собиралась в громадном рудневском доме, вместе с нею надолго водворялась атмосфера какой-то общей наивной, поэтической и шаловливой влюблённости.

Эти дни бывали днями полной анархии, приводившей в отчаяние прислугу. Все условные понятия о времени, разграниченном, «как у людей», чаем, завтраком, обедом и ужином, смешивались в шумной и беспорядочной суете. В то время когда одни кончали обедать, другие только что начинали пить утренний чай, а третьи целый день пропадали на катке в Зоологическом саду, куда забирали с собой гору бутербродов. Со стола никогда не убирали, и буфет стоял открытым с утра до вечера. Несмотря на это, случалось, что молодёжь, проголодавшись совсем в неуказанное время, после коньков или поездки на балаганы, отправляла на кухню депутацию к Акинфычу с просьбой приготовить «что-нибудь вкусненькое». Старый пьяница, но глубокий знаток своего дела, Акинфыч сначала обыкновенно долго не соглашался и ворчал на депутацию. Тогда в ход пускалась тонкая лесть: говорили, что теперь уже перевелись в Москве хорошие повара, что только у стариков и сохранилось ещё неприкосновенным уважение к святости кулинарного искусства и так далее. Кончалось тем, что задетый за живое Акинфыч сдавался и, пробуя на большом пальце острие ножа, говорил с напускной суровостью:

– Ладно уж, ладно… будет петь-то… Сколько вас там, галчата?

Ирина Алексеевна Руднева – хозяйка дома – почти никогда не выходила из своих комнат, кроме особенно торжественных, официальных случаев. Урождённая княжна Ознобишина, последний отпрыск знатного и богатого рода, она раз и навсегда решила, что общество её мужа и детей слишком «мескинно»[10] и «брютально»[11], и потому равнодушно «иньорировала»[12] его, развлекаясь визитами к архиереям и поддержанием знакомства с такими же, как она сама, окаменелыми потомками родов, уходящих в седую древность. Впрочем, мужа своего Ирина Алексеевна не уставала даже и теперь тайно, но мучительно ревновать. И она, вероятно, имела для этого основания, так как Аркадий Николаевич, известный всей Москве гурман, игрок и щедрый покровитель балетного искусства, до сих пор ещё, несмотря на свои пятьдесят с лишком лет, не утратил заслуженной репутации дамского угодника, поклонника и покорителя. Даже и теперь его можно было назвать красавцем, когда он, опоздав на десять минут к началу действия и обращая на себя общее внимание, входил в зрительную залу Большого театра – элегантный и самоуверенный, с гордо поставленной на осанистом туловище, породистой, слегка седеющей головой.

Аркадий Николаевич редко показывался домой, потому что обедал он постоянно в Английском клубе, а по вечерам ездил туда же играть в карты, если в театре не шёл интересный балет. В качестве главы дома он занимался исключительно тем, что закладывал и перезакладывал то одно, то другое недвижимое имущество, не заглядывая в будущее с беспечностью избалованного судьбой гран-сеньора. Привыкнув с утра до вечера вращаться в большом обществе, он любил, чтобы и в доме у него было шумно и оживлённо. Изредка ему нравилось сюрпризом устроить для своей молодёжи неожиданное развлечение и самому принять в нём участие. Это случалось большею частью на другой день после крупного выигрыша в клубе.

– Молодые республиканцы! – говорил он, входя в гостиную и сияя своим свежим видом и очаровательной улыбкой. – Вы, кажется, скоро все заснёте от ваших серьёзных разговоров. Кто хочет ехать со мной за город? Дорога прекрасная: солнце, снег и морозец. Страдающих зубной болью и мировой скорбью прошу оставаться дома под надзором нашей почтеннейшей Олимпиады Савичны…

Посылали за тройками к Ечкину, скакали сломя голову за Тверскую заставу, обедали в «Мавритании» или в «Стрельне» и возвращались домой поздно вечером, к большому

неудовольствию Ирины Алексеевны, смотревшей брезгливо на эти «эскапады[13] дурного тона». Но молодёжь нигде так безумно не веселилась, как именно в этих эскападах, под предводительством Аркадия Николаевича.

Неизменное участие принимал ежегодно Аркадий Николаевич и в ёлке. Этот детский праздник почему-то доставлял ему своеобразное, наивное удовольствие. Никто из домашних не умел лучше его придумать каждому подарок по вкусу, и потому в затруднительных случаях старшие дети прибегали к его изобретательности.

– Папа, ну что мы подарим Коле Радомскому? – спрашивали Аркадия Николаевича дочери. – Он большой такой, гимназист последнего класса… нельзя же ему игрушку…

– Зачем же игрушку? – возражал Аркадий Николаевич. – Самое лучшее купите для него хорошенький портсигар. Юноша будет польщён таким солидным подарком. Теперь очень хорошенькие портсигары продаются у Лукутина. Да, кстати, намекните этому Коле, чтобы он не стеснялся при мне курить. А то давеча, когда я вошёл в гостиную, так он папироску в рукав спрятал…

Аркадий Николаевич любил, чтобы у него ёлка выходила на славу, и всегда приглашал к ней оркестр Рябова. Но в этом году[14] с музыкой произошёл целый ряд роковых недоразумений. К Рябову почему-то послали очень поздно; оркестр его, разделяемый на праздниках на три части, оказался уже разобранным. Маэстро в силу давнего знакомства с домом Рудневых обещал, однако, как-нибудь устроить это дело, надеясь, что в другом доме переменят день ёлки, но по неизвестной причине замедлил ответом, и когда бросились искать в другие места, то во всей Москве не оказалось ни одного оркестра. Аркадий Николаевич рассердился и велел отыскать хорошего тапёра, но кому отдал это приказание, он и сам теперь не помнил. Этот «кто-то», наверно, свалил данное ему поручение на другого, другой – на третьего, переврав, по обыкновению, его смысл, а третий в общей сумятице и совсем забыл о нём…

Между тем пылкая Тина успела уже взбудоражить весь дом. Почтенная экономка, толстая, добродушная Олимпиада Савична, говорила, что и взаправду барин ей наказывал распорядиться о тапёре, если не приедет музыка, и что она об этом тогда же сказала камердинеру Луке. Лука, в свою очередь, оправдывался тем, что его дело ходить около Аркадия Николаевича, а не бегать по городу за фортепьянщиками. На шум прибежала из барышниных комнат горничная Дуняша, подвижная и ловкая, как обезьяна, кокетка и болтунья, считавшая долгом ввязываться

непременно в каждое неприятное происшествие. Хотя её и никто не спрашивал, но она совалась к каждому с жаркими уверениями, что пускай её Бог разразит на этом месте, если она хоть краешком уха что-нибудь слышала о тапёре. Неизвестно, чем окончилась бы эта путаница, если бы на помощь не пришла Татьяна Аркадьевна, полная, весёлая блондинка, которую вся прислуга обожала за её ровный характер и удивительное умение улаживать внутренние междоусобицы.

– Одним словом, мы так не кончим до завтрашнего дня, – сказала она своим спокойным, слегка насмешливым, как у Аркадия Николаевича, голосом. – Как бы то ни было, Дуняша сейчас же отправится разыскивать тапёра. Покамест ты будешь одеваться, Дуняша, я тебе выпишу из газеты адреса. Постарайся найти поближе, чтобы не задерживать ёлки, потому что сию минуту начнут съезжаться. Деньги на извозчика возьми у Олимпиады Савичны…

Едва она успела это произнести, как у дверей передней громко затрещал звонок. Тина уже бежала туда стремглав, навстречу целой толпе детишек, улыбающихся, румяных с мороза, запушённых снегом и внёсших за собою запах зимнего воздуха, крепкий и здоровый, как запах свежих яблоков. Оказалось, что две большие семьи – Лыковых и Масловских – столкнулись случайно, одновременно подъехав к воротам. Передняя сразу наполнилась говором, смехом, топотом ног и звонкими поцелуями.

Звонки раздавались один за другим почти непрерывно. Приезжали всё новые и новые гости. Барышни Рудневы едва успевали справляться с ними. Взрослых приглашали в гостиную, а маленьких завлекали в детскую и в столовую, чтобы запереть их там предательским образом. В зале ещё не зажигали огня. Огромная ёлка стояла посредине, слабо рисуясь в полутьме своими фантастическими очертаниями и наполняя комнату смолистым ароматом. Там и здесь на ней тускло поблескивала, отражая свет уличного фонаря, позолота цепей, орехов и картонажей.

Дуняша всё ещё не возвращалась, и подвижная, как ртуть, Тина сгорала от нетерпеливого беспокойства. Десять раз подбегала она к Тане, отводила её в сторону и шептала взволнованно:

– Танечка, голубушка, как же теперь нам быть?.. Ведь это же ни на что не похоже.

Таня сама начинала тревожиться. Она подошла к старшей сестре и сказала вполголоса:

– Я уж не придумаю, что делать. Придётся попросить тётю

Соню поиграть немного… А потом я её сама как-нибудь заменю.

– Благодарю покорно, – насмешливо возразила Лидия. – Тётя Соня будет потом нас целый год своим одолжением донимать. А ты так хорошо играешь, что уж лучше совсем без музыки танцевать.

В эту минуту к Татьяне Аркадьевне подошёл, неслышно ступая своими замшевыми подошвами, Лука.

– Барышня, Дуняша просит вас на секунду выйти к ним.

– Ну что, привезла? – спросили в один голос все три сестры.

– Пожалуйте-с. Извольте-с посмотреть сами, – уклончиво ответил Лука. – Они в передней… Только что-то сомнительно-с… Пожалуйте.

В передней стояла Дуняша, ещё не снявшая шубки, закиданной комьями грязного снега. Сзади её копошилась в тёмном углу какая-то маленькая фигурка, разматывавшая жёлтый башлык, окутывавший её голову.

– Только, барышня, не браните меня, – зашептала Дуняша, наклоняясь к самому уху Татьяны Аркадьевны. – Разрази меня Бог – в пяти местах была и ни одного тапёра не застала. Вот нашла этого мальца, да уж и сама не знаю, годится ли. Убей меня Бог, только один и остался. Божится, что играл на вечерах и на свадьбах, а я почему могу знать…

Между тем маленькая фигурка, освободившись от своего башлыка и пальто, оказалась бледным, очень худощавым мальчиком в подержанном мундирчике реального училища. Понимая, что речь идёт о нём, он в неловкой выжидательной позе держался в своём углу, не решаясь подойти ближе. Наблюдательная Таня, бросив на него украдкой несколько взглядов, сразу определила про себя, что этот мальчик застенчив, беден и самолюбив. Лицо у него было некрасивое, но выразительное и с очень тонкими чертами; несколько наивный вид ему придавали вихры тёмных волос, завивающихся «гнёздышками» по обеим сторонам высокого лба, но большие серые глаза – слишком большие для такого худенького детского лица – смотрели умно, твёрдо и не по-детски серьёзно. По первому впечатлению мальчику можно было дать лет одиннадцать-двенадцать.

Татьяна сделала к нему несколько шагов и, сама стесняясь не меньше его, спросила нерешительно:

– Вы говорите, что вам уже приходилось… играть на вечерах?

– Да… я играл, – ответил он голосом, несколько сиплым от мороза и от робости. – Вам, может быть, оттого кажется, что я такой маленький…

– Ах, нет, вовсе не это… Вам ведь лет тринадцать, должно

быть?

– Четырнадцать-с.

– Это, конечно, всё равно. Но я боюсь, что без привычки вам будет тяжело.

Мальчик откашлялся.

– О нет, не беспокойтесь… Я уже привык к этому. Мне случалось играть по целым вечерам, почти не переставая…

Таня вопросительно посмотрела на старшую сестру, Лидия Аркадьевна, отличавшаяся странным бессердечием по отношению ко всему загнанному, подвластному и приниженному, спросила со своей обычной презрительной миной:

– Вы умеете, молодой человек, играть кадриль?

Мальчик качнулся туловищем вперёд, что должно было означать поклон.

– Умею-с.

– И вальс умеете?

– Да-с.

– Может быть, и польку тоже?

Мальчик вдруг густо покраснел, но ответил сдержанным тоном:

– Да, и польку тоже.

– А лансье? – продолжала дразнить его Лидия.

– Laissez donc, Lidie, vous êtes impossible[15], – строго заметила Татьяна Аркадьевна.

Большие глаза мальчика вдруг блеснули гневом и насмешкой. Даже напряжённая неловкость его позы внезапно исчезла.

– Если вам угодно, mademoiselle, – резко повернулся он к Лидии, – то, кроме полек и кадрилей, я играю ещё все сонаты Бетховена, вальсы Шопена и рапсодии Листа.

– Воображаю! – делано, точно актриса на сцене, уронила Лидия, задетая этим самоуверенным ответом.

Мальчик перевёл глаза на Таню, в которой он инстинктивно угадал заступницу, и теперь эти огромные глаза приняли умоляющее выражение.

– Пожалуйста, прошу вас… позвольте мне что-нибудь сыграть…

Чуткая Таня поняла, как больно затронула Лидия самолюбие мальчика, и ей стало жалко его. А Тина даже запрыгала на месте и захлопала в ладоши от радости, что эта противная гордячка Лидия сейчас получит щелчок.

– Конечно, Танечка, конечно, пускай сыграет, – упрашивала она сестру, и вдруг со своей обычной стремительностью, схватив за руку маленького пианиста, она потащила его в залу,

повторяя: – Ничего, ничего… Вы сыграете, и она останется с носом… Ничего, ничего.

Неожиданное появление Тины, влекшей на буксире застенчиво улыбавшегося реалистика, произвело общее недоумение. Взрослые один за другим переходили в залу, где Тина, усадив мальчика на выдвижной табурет, уже успела зажечь свечи на великолепном шредеровском фортепиано.

Реалист взял наугад одну из толстых, переплетённых в шагрень нотных тетрадей и раскрыл её. Затем, обернувшись к дверям, в которых стояла Лидия, резко выделяясь своим белым атласным платьем на чёрном фоне неосвещённой гостиной, он спросил:

– Угодно вам «Rapsodie Hongroise»[16] *№ 2* Листа?

Лидия пренебрежительно выдвинула вперёд нижнюю губу и ничего не ответила. Мальчик бережно положил руки на клавиши, закрыл на мгновение глаза, и из-под его пальцев полились торжественные, величавые аккорды начала рапсодии. Странно было видеть и слышать, как этот маленький человечек, голова которого едва виднелась из-за пюпитра, извлекал из инструмента такие мощные, смелые, полные звуки. И лицо его как будто бы сразу преобразилось, просветлело и стало почти прекрасным; бледные губы слегка полуоткрылись, а глаза ещё больше увеличились и сделались глубокими, влажными и сияющими.

Зала понемногу наполнялась слушателями. Даже Аркадий Николаевич, любивший музыку и знавший в ней толк, вышел из своего кабинета. Подойдя к Тане, он спросил её на ухо:

– Где вы достали этого карапуза?

– Это тапёр, папа, – ответила тихо Татьяна Аркадьевна. – Правда, отлично играет?

– Тапёр? Такой маленький? Неужели? – удивлялся Руднев. – Скажите пожалуйста, какой мастер! Но ведь это безбожно заставлять его играть танцы.

Когда Таня рассказала отцу о сцене, происшедшей в передней, Аркадий Николаевич покачал головой:

– Да, вот оно что… Ну, что ж делать, нельзя обижать мальчугана. Пускай играет, а потом мы что-нибудь придумаем.

Когда реалист окончил рапсодию, Аркадий Николаевич первый захлопал в ладоши. Другие также принялись аплодировать. Мальчик встал с высокого табурета, раскрасневшийся и взволнованный; он искал глазами Лидию, но её уже не было в зале.

– Прекрасно играете, голубчик. Большое удовольствие нам доставили, – ласково улыбался Аркадий Николаевич, подходя к музыканту и протягивая ему руку. – Только я боюсь, что вы… как

вас величать-то, я не знаю.

– Азагаров, Юрий Азагаров.

– Боюсь я, милый Юрочка, не повредит ли вам играть целый вечер? Так вы, знаете ли, без всякого стеснения скажите, если устанете. У нас найдётся здесь кому побренчать. Ну, а теперь сыграйте-ка нам какой-нибудь марш побравурнее.

Под громкие звуки марша из «Фауста» были поспешно зажжены свечи на ёлке. Затем Аркадий Николаевич собственноручно распахнул настежь двери столовой, где толпа детишек, ошеломлённая внезапным ярким светом и ворвавшейся к ним музыкой, точно окаменела в наивно изумлённых забавных позах. Сначала робко, один за другим, входили они в залу и с почтительным любопытством ходили кругом ёлки, задирая вверх свои милые мордочки. Но через несколько минут, когда подарки уже были розданы, зала наполнилась невообразимым гамом, писком и счастливым звонким детским хохотом. Дети точно опьянели от блеска ёлочных огней, от смолистого аромата, от громкой музыки и от великолепных подарков. Старшим никак не удавалось собрать их в хоровод вокруг ёлки, потому что то один, то другой вырывался из круга и бежал к своим игрушкам, оставленным кому-нибудь на временное хранение.

Тина, которая после внимания, оказанного её отцом Азагарову, окончательно решила взять мальчика под своё покровительство, подбежала к нему с самой дружеской улыбкой.

– Пожалуйста, сыграйте нам польку.

Азагаров заиграл, и перед его глазами закружились белые, голубые и розовые платьица, короткие юбочки, из-под которых быстро мелькали белые кружевные панталончики, русые и чёрные головки в шапочках из папиросной бумаги. Играя, он машинально прислушивался к равномерному шарканью множества ног под такт его музыки, как вдруг необычайное волнение, пробежавшее по всей зале, заставило его повернуть голову ко входным дверям.

Не переставая играть, он увидел, как в залу вошёл пожилой господин, к которому, точно по волшебству, приковались глаза всех присутствующих. Вошедший был немного выше среднего роста и довольно широк в кости, но не полн. Держался он с такой изящной, неуловимо небрежной и в то же время величавой простотой, которая свойственна только людям большого света. Сразу было видно, что этот человек привык чувствовать себя одинаково свободно и в маленькой гостиной, и перед тысячной толпой, и в залах королевских дворцов. Всего замечательнее было его лицо – одно из тех лиц, которые запечатлеваются в памяти на всю жизнь с первого взгляда: большой четырёхугольный лоб был изборождён суровыми, почти гневными морщинами; глаза,

глубоко сидевшие в орбитах, с повисшими над ними складками верхних век, смотрели тяжело, утомлённо и недовольно; узкие бритые губы были энергичны и крепко сжаты, указывая на железную волю в характере незнакомца, а нижняя челюсть, сильно выдвинувшаяся вперёд и твёрдо обрисованная, придавала физиономии отпечаток властности и упорства. Общее впечатление довершала длинная грива густых, небрежно заброшенных назад волос, делавшая эту характерную, гордую голову похожей на львиную…

Юрий Азагаров решил в уме, что новоприбывший гость, должно быть, очень важный господин, потому что даже чопорные пожилые дамы встретили его почтительными улыбками, когда он вошёл в залу, сопровождаемый сияющим Аркадием Николаевичем. Сделав несколько общих поклонов, незнакомец быстро прошёл вместе с Рудневым в кабинет, но Юрий слышал, как он говорил на ходу о чём-то просившему его хозяину:

– Пожалуйста, добрейший мой Аркадий Николаевич, не просите. Вы знаете, как мне больно вас огорчать отказом…

– Ну хоть что-нибудь, Антон Григорьевич. И для меня и для детей это будет навсегда историческим событием, – продолжал просить хозяин.

В это время Юрия попросили играть вальс, и он не услышал, что ответил тот, кого называли Антоном Григорьевичем. Он играл поочередно вальсы, польки и кадрили, но из его головы не выходило царственное лицо необыкновенного гостя. И тем более он был изумлён, почти испуган, когда почувствовал на себе чей-то взгляд, и, обернувшись вправо, он увидел, что Антон Григорьевич смотрит на него со скучающим и нетерпеливым видом и слушает, что ему говорит на ухо Руднев.

Юрий понял, что разговор идёт о нём, и отвернулся от них в смущении, близком к непонятному страху. Но тотчас же, в тот же самый момент, как ему казалось потом, когда он уже взрослым проверял свои тогдашние ощущения, над его ухом раздался равнодушно-повелительный голос Антона Григорьевича:

– Сыграйте, пожалуйста, ещё раз рапсодию № 2.

Он заиграл, сначала робко, неуверенно, гораздо хуже, чем он играл в первый раз, но понемногу к нему вернулись смелость и вдохновение. Присутствие *того,* властного и необыкновенного человека почему-то вдруг наполнило его душу артистическим волнением и придало его пальцам исключительную гибкость и послушность. Он сам чувствовал, что никогда ещё не играл в своей жизни так хорошо, как в этот раз, и, должно быть, не скоро будет ещё так хорошо играть.

Юрий не видел, как постепенно прояснялось хмурое чело

Антона Григорьевича и как смягчалось мало-помалу строгое выражение его губ, но когда он кончил при общих аплодисментах и обернулся в ту сторону, то уже не увидел этого привлекательного и странного человека. Зато к нему подходил с многозначительной улыбкой, таинственно подымая вверх брови, Аркадий Николаевич Руднев.

– Вот что, голубчик Азагаров, – заговорил почти шёпотом Аркадий Николаевич, – возьмите этот конвертик, спрячьте в карман и не потеряйте – в нём деньги. А сами идите сейчас же в переднюю и одевайтесь. Вас довезёт Антон Григорьевич.

– Но ведь я могу ещё хоть целый вечер играть, – возразил было мальчик.

– Тсс!.. – закрыл глаза Руднев. – Да неужели вы не узнали его? Неужели вы не догадались, кто это?

Юрий недоумевал, раскрывая всё больше и больше свои огромные глаза. Кто же это мог быть, этот удивительный человек?

– Голубчик, да ведь это Рубинштейн. Понимаете ли, Антон Григорьевич Рубинштейн! И я вас, дорогой мой, от души поздравляю и радуюсь, что у меня на ёлке вам совсем случайно выпал такой подарок. Он заинтересован вашей игрой…

Реалист в поношенном мундире давно уже известен теперь всей России как один из талантливейших композиторов, а необычайный гость с царственным лицом ещё раньше успокоился навсегда, от своей бурной, мятежной жизни, жизни мученика и триумфатора. Но никогда и никому Азагаров не передавал тех священных слов, которые ему говорил, едучи с ним в санях, в эту морозную рождественскую ночь, его великий учитель.

Синяя звезда

Давным-давно, с незапамятных времён, жил на одном высоком плоскогорье мирный пастушеский народ, отделённый от всего света крутыми скалами, глубокими пропастями и густыми лесами. История не помнит и не знает, сколько веков назад взобрались на горы и проникли в эту страну закованные в железо, чужие, сильные и высокие люди, пришедшие с юга.

Суровым воинам очень понравилась открытая ими страна с её кротким народом, умеренно тёплым климатом, вкусной водой и плодородною землёй. И они решили навсегда в ней поселиться. Для этого совсем не надо было её покорять, ибо обитатели не ведали ни зла, ни орудий войны. Всё завоевание заключалось в том, что железные рыцари сняли свои тяжёлые доспехи и поженились на местных красивейших девушках, а во главе нового государства поставили своего предводителя, великодушного, храброго Эрна, которого облекли королевской властью, наследственной и неограниченной. В те далекие наивные времена это ещё было возможно.

Около тысячи лет прошло с той поры. Потомки воинов до такой степени перемешались через перекрестные браки с потомками основных жителей, что уже не стало между ними никакой видимой разницы ни в языке, ни в наружности: внешний образ древних рыцарей совершенно поглотился народным эрнотеррским обличьем и растворился в нём. Старинный язык, почти забытый даже королями, употребляли только при дворе и то лишь в самых торжественных случаях и церемониях или изредка для изъяснения высоких чувств и понятий. Память об Эрне Первом, Эрне Великом, Эрне Святом, осталась навеки бессмертной в виде прекрасной, неувядающей легенды, сотворённой целым народом, подобной тем удивительным сказаниям, которые создали индейцы о Гайавате, финны о Вейенемейне, русские о Владимире Красном Солнышке, евреи о Моисее, французы о Шарлемане.

Это он, мудрый Эрн, научил жителей Эрнотерры хлебопашеству, огородничеству и обработке железной руды. Он открыл им письменность и искусства. Он же дал им начатки письменности и закона: религия заключалась в чтении молитвы на непонятном языке, а основной закон был всего один: *в Эрнотерре никто не смеет лгать*. Мужчины и женщины были им признаны одинаково равными в своих правах и обязанностях, а всякие титулы и привилегии были им стёрты с первого дня вступления на престол. Сам король носил лишь титул «Первого

слуги народа».

Эрн Великий также установил и закон о престолонаследии, по которому наследовали престол перворождённые: всё равно будь это сын или дочь, которые вступали в брак единственно по своему личному влечению. Наконец он же, Эрн Первый, знавший многое о соблазнах, разврате и злобе, царящих там внизу, в покинутых им образованных странах, повелел разрушить и сделать навсегда недосягаемой ту горную тропу, по которой впервые вскарабкались с невероятным трудом наверх он сам и его славная дружина.

И вот под отеческой, мудрой и доброй властью королей Эрнов расцвела роскошно Эрнотерра и зажила невинной, полной, чудесной жизнью, не зная ни войн, ни преступлений, ни нужды в течение целых тысячи лет.

В старом тысячелетнем королевском замке ещё хранились, как память, некоторые предметы, принадлежавшие при жизни Эрну Первому: его латы, его шлем, его меч, его копьё и несколько непонятных слов, которые он вырезал остриём кинжала на стене своей охотничей комнаты. Теперь уже никто из эрнотерранов не смог бы поднять этой брони хотя бы на дюйм от земли или взмахнуть этим мечом, хотя бы даже взяв его обеими руками, или прочитать королевскую надпись. Сохранились также три изображения самого короля: одно – профильное, в мельчайшей мозаике, другое – лицевое, красками, третье – изваянное в мраморе.

И надо сказать, что все эти три портрета, сделанные с большой любовью и великим искусством, были предметом постоянного огорчения жителей, обожавших своего первого монарха. Судя по ним, не оставалось никакого сомнения в том, что великий, мудрый, справедливый, святой Эрн отличался исключительной, выходящей из ряда вон некрасивостью, почти уродством лица, в котором, впрочем, не было ничего злобного или отталкивающего. А между тем эрнотерры всегда гордились своей национальной красотою и безобразную наружность первого короля прощали только за легендарную красоту его души.

Закон наследственного сходства у людей знает свои странные капризы. Иногда ребёнок родится не похожим ни на отца с матерью, даже ни на дедов и прадедов, а внезапно на одного из отдалённейших предков, отстоящих от него на множество поколений. Так и в династии Эрнов летописцы отмечали иногда рождение очень некрасивых сыновей, хотя эти явления с течением истории становились всё более редкими. Правда, надо сказать, что эти уродливые принцы отличались, как нарочно, замечательно высокими душевными качествами: добротой, умом,

весёлостью. Таковая справедливая милость судьбы к несчастным августейшим уродам примиряла с ними эрнотерров, весьма требовательных в вопросах красоты линий, форм и движений.

Добрый король Эрн XXIII отличался выдающейся красотой и женат был по страстной любви на самой прекрасной девушке государства. Но детей у них не было очень долго: целых десять лет, считая от свадьбы. Можно представить себе ликование народа, когда на одиннадцатом году он услышал долгожданную весть о том, что его любимая королева готовится стать матерью. Народ радовался вдвойне: и за королевскую чету, и потому, что вновь восстанавливался по прямой линии славный род сказочного Эрна. Через шесть месяцев он с восторгом услыхал о благополучном рождении принцессы Эрны XIII. В этот день не было ни одного человека в Эрнотерре, не испившего полную чашу вина за здоровье инфанты.

Не веселились только во дворце. Придворная повитуха, едва принявши младенца, сразу покачала головой и горестно почмокала языком. Королева же, когда ей принесли и показали девочку, всплеснула ладонями и воскликнула:

– Ах, боже мой, какая дурнушка! – И залилась слезами. Но, впрочем, только на минутку. А потом, протянувши руки, сказала:

– Нет, нет, дайте мне поскорее мою крошку, я буду любить её вдвое за то, что она, бедная, так некрасива.

Чрезвычайно был огорчён и августейший родитель.

– Надо же было судьбе оказать такую жестокость! – говорил он.

– О принцах-уродах в нашей династии мы слыхали, но принцесса-дурнушка впервые появилась в древнем роде Эрнов! Будем молиться о том, чтобы её телесная некрасивость уравновесилась прекрасными дарами души, сердца и ума.

То же самое повторил и верный народ, когда услышал о некрасивой наружности новорождённой инфанты.

Девочка меж тем росла по дням и дурнела по часам. А так как она своей дурноты ещё не понимала, то в полной беззаботности крепко спала, с аппетитом кушала и была превесёлым и прездоровым ребёнком. К трём годкам для всего двора стало очевидным её поразительное сходство с портретами Эрна Великого. Но уже в этом нежном возрасте она обнаруживала свои прелестные внутренние качества: доброту, терпение, кротость, внимание к окружающим, любовь к людям и животным, ясный, живой, точный ум и всегдашнюю приветливость.

Около этого времени королева однажды пришла к королю и сказала ему:

– Государь мой и дорогой супруг. Я хочу просить у вас

большой милости для нашей дочери.

– Просите, возлюбленная моя супруга, хотя вы знаете сами, что я ни в чём не могу отказать вам.

– Дочь наша подрастает, и, по-видимому, Бог послал ей совсем необычный ум, который перегоняет её телесный рост. Скоро наступит тот роковой день, когда добрая, ненаглядная Эрна убедится путём сравнения в том, как исключительно некрасиво её лицо. И я боюсь, что это сознание принесёт ей очень много горя и боли не только теперь, но и во всей её будущей жизни.

– Вы правы, дорогая супруга. Но какою же моею милостью думаете вы отклонить или смягчить этот неизбежный удар, готовящийся для нашей любимой дочери?

– Не гневайтесь, государь, если моя мысль покажется вам глупой. Необходимо, чтобы Эрна никогда не видела своего отражения в зеркале. Тогда, если чей-нибудь злой или неосторожный язык и скажет ей, что она некрасива, – она всё-таки никогда не узнает всей крайности своего безобразия.

– И для этого вы хотели бы?

– Да… Чтобы в Эрнотерре не осталось ни одного зеркала!

Король задумался. Потом сказал:

– Это будет большим лишением для нашего доброго народа. Благодаря закону моего великого пращура о равноправии полов женщины и мужчины Эрнотерры одинаково кокетливы. Но мы знаем глубокую любовь к нам и испытанную преданность нашего народа королевскому дому и уверены, что он охотно принесёт нам эту маленькую жертву. Сегодня же я издам и оповещу через геральдов указ наш о повсеместном изъятии и уничтожении зеркал, как стеклянных, так и металлических, в нашем королевстве.

Король не ошибся в своём народе, который в те счастливые времена составлял одну тесную семью с королевской фамилией. Эрнотерране с большим сочувствием поняли, какие деликатные мотивы руководили королевским повелением, и с готовностью отдали государственной страже все зеркала и даже зеркальные осколки. Правда, шутники не воздержались от весёлой демонстрации, пройдя мимо дворца с взлохмаченными волосами и с лицами, вымазанными грязью. Но когда народ смеётся, даже с оттенком сатиры, монарх может спать спокойно.

Жертва, принесённая королю поданными, была тем значительнее, что все горные ручьи и ручейки Эрнотерры были очень быстры и потому не отражали предметов.

Принцессе Эрне шёл пятнадцатый год. Она была крепкой, сильной девушкой и такой высокой, что превышала на целую

голову самого рослого мужчину. Была одинаково искусна как в вышивании лёгких тканей, так и в игре на арфе… В бросании мяча не имела соперников и ходила по горным обрывам, как дикая коза. Доброта, участие, справедливость, сострадание изливались из неё, подобно лучам, дающим вокруг свет, тепло и радость. Никогда не уставала она в помощи больным, старым и бедным. Умела перевязывать раны и знала действие и природу лечебных трав. Истинный дар небесного царя земным королям заключался в её чудесных руках: возлагая их на золотушных и страдающих падучей, она излечивала эти недуги. Народ боготворил её и повсюду провожал благословениями. Но часто, очень часто ловила на себе чуткая Эрна бегучие взгляды, в которых ей чувствовалась жалость, тайное соболезнование…

«Может быть я не такая, как все?» – думала принцесса и спрашивала своих фрейлен:

– Скажите мне, дорогие подруги, красива я или нет?

И так как в Эрнотерре никто не лгал, то придворные девицы отвечали ей чистосердечно:

– Вас нельзя назвать красавицей, но бесспорно вы милее, умнее и добрее всех девушек и дам на свете. Поверьте, то же самое скажет вам и тот человек, которому суждено будет стать вашим мужем. А ведь мы, женщины, плохие судьи в женских прелестях.

И верно: им было трудно судить о наружности Эрны. Ни ростом, ни телом, ни сложением, ни чертами лица – ничем она не была хоть отдалённо похожа на женщин Эрнотерры.

Тот день, когда Эрне исполнилось пятнадцать лет, – срок девической зрелости по законам страны, – был отпразднован во дворце роскошным обедом и великолепным балом. А на следующее утро добросердечная Эрна собрала в ручную корзину кое-какие редкие лакомства, оставшиеся от вчерашнего пира, и, надев корзину на локоть, пошла в горы, мили за четыре, навестить свою кормилицу, к которой она была очень горячо привязана. Против обыкновения, ранняя прогулка и чистый горный воздух не веселили её. Мысли все вращались около странных наблюдений, сделанных ею на вчерашнем балу. Душа Эрны была ясна и невинна, как вечный горный снег, но женский инстинкт, зоркий глаз и цветущий возраст подсказали ей многое. От неё не укрылись те взгляды томности, которые устремляли друг на друга танцевавшие юноши и девушки. Но ни один такой говорящий взор не останавливался на ней: лишь покорность, преданность, утончённую вежливость читала она в почтительных улыбках и низких поклонах. И всегда этот неизбежный, этот

ужасный оттенок сожаления! «Неужели я в самом деле так безобразна? Неужели я урод, страшилище, внушающее отвращение, и никто мне не смеет сказать об этом?»

В таких печальных размышлениях дошла Эрна до дома кормилицы и постучалась, но, не получив ответа, открыла дверь (в стране ещё не знали замков) и вошла внутрь, чтобы обождать кормилицу; это она иногда делала и раньше, когда её не заставала.

Сидя у окна, отдыхая и предаваясь грустным мыслям, бродила принцесса рассеянными глазами по давно знакомой мебели и по утвари, как вдруг внимание её привлекла заповедная кормилицына шкатулка, в которой та хранила всяческие пустяки, связанные с её детством, с девичеством, с первыми шагами любви, с замужеством и пребыванием во дворце: разноцветные камушки, брошки, вышивки, ленточки, печатки, колечки и другую наивную и дешёвую мелочь; принцесса ещё с раннего детства любила рыться в этих сувенирах, и хотя знала наизусть их интимные истории, но всегда слушала их вновь с живейшим удовольствием. Только показалось ей немного странным, почему ларец стоит так на виду; всегда берегла его кормилица в потаённом месте, а когда, бывало, её молочная дочь вдоволь насмотрится, завёртывала его в кусок нарядной материи и бережно прятала.

«Должно быть, теперь очень заторопилась, выскочила на минутку из дома и забыла спрятать», – подумала принцесса, присела к столу, небрежно положила укладочку на колени и стала перебирать одну за другой знакомые вещички, бросая их поочерёдно себе на платье. Так добралась Эрна до самого дна и вдруг заметила какой-то косоугольный, большой плоский осколок. Она вынула его и посмотрела. С одной стороны он был красный, а с другой – серебряный, блестящий и как будто бы глубокий. Присмотрелась и увидела в нём угол комнаты с прислонённой метлой… Повернула немного – отразился старый узкий деревянный комод, ещё немножко… и выплыло такое некрасивое лицо, какого принцесса и вообразить никогда бы не сумела.

Подняла она брови кверху – некрасивое лицо делает то же самое. Наклонила голову – лицо повторило. Провела руками по губам – и в осколке отразилось это движение. Тогда поняла вдруг Эрна, что смотрит на неё из странного предмета её же собственное лицо. Уронила зеркальце, закрыла глаза руками и в горести пала головою на стол.

В эту минуту вошла вернувшаяся кормилица. Увидала принцессу, забытую шкатулку и сразу обо всём догадалась.

Бросилась перед Эрной на колени, стала говорить нежные жалкие слова. Принцесса же быстро поднялась, выпрямилась с сухими глазами, но с гневным взором и приказала коротко:

– Расскажи мне всё.

И показала пальцем на зеркало. И такая неожиданная, но непреклонная воля зазвучала в её голосе, что простодушная женщина не посмела ослушаться, всё передала принцессе: об уродливых добрых принцах, о горе королевы, родившей некрасивую дочь, о её трогательной заботе, с которой она старалась отвести от дочери тяжёлый удар судьбы, и о королевском указе об уничтожении зеркал. Плакала кормилица при своём рассказе, рвала волосы и проклинала тот час, когда, на беду своей ненаглядной Эрне, утаила она по глупой женской слабости осколок запретного зеркала в заветном ларце.

Выслушав её до конца, принцесса сказала со скорбной улыбкой:

– В Эрнотерре никто не смеет лгать!

И вышла из дома. Встревоженная кормилица хотела было за нею последовать. Но Эрна приказала сурово:

– Останься.

Кормилица повиновалась. Да и как ей было ослушаться? В этом одном слове она услышала не всегдашний кроткий голос маленькой Эрны, сладко сосавшей когда-то её грудь, а приказ гордой принцессы, предки которой господствовали тысячу лет над её народом.

Шла несчастная Эрна по крутым горным дорогам, и ветер трепал её лёгкое длинное голубое платье. Шла она по самому краю отвесного обрыва. Внизу, под её ногами, темнела синяя мгла пропасти и слышался глухой рёв водопадов, как бы повисших сверху белыми лентами. Облака бродили под её ногами в виде густых хмурых туманов. Но ничего не видела и не хотела видеть Эрна, скользившая над бездной привычными лёгкими ногами. А её бурные чувства, её тоскливые мысли на этом одиноком пути? Кто их смог бы понять и рассказать о них достоверно? Разве только другая принцесса, другая дочь могучего монарха, которую слепой рок постиг бы столь внезапно и незаслуженно…

Так дошла она до крутого поворота, под которым давно обвалившиеся скалы нагромоздились в обычном беспорядке, и вдруг остановилась. Какой-то необычный звук донёсся до неё снизу, сквозь гул водопада. Она склонилась над обрывом и прислушалась. Где-то глубоко под её ногами раздавался стонущий и зовущий человеческий голос. Тогда, забыв о своём огорчении, движимая лишь волнением сердечной доброты, стала спускаться Эрна в пропасть, перепрыгивая с уступа на уступ, с

камня на камень, с утёса на утёс с лёгкостью молодого оленя, пока не утвердилась на небольшой площадке, размером немного пошире мельничного жернова. Дальше уже не было спуска. Правда, и подняться наверх уже стало невозможным, но самозабвенная Эрна об этом даже не подумала.

Стонущий человек находился где-то совсем близко, под площадкой. Лёгши на камень и свесивши голову вниз, Эрна увидела его. Он полулежал-полувисел на заострённой вершине утёса, уцепившись одной рукой за его выступ, а другой за тонкий ствол кривой горной сосенки; левая нога его упиралась в трещину, правая же не имела опоры. По одежде он не был жителем Эрнотерры, потому что принцесса ни шёлка, ни кружев, ни замшевых краг, ни кожаных сапог со шпорами, ни поясов, тиснённых золотом, никогда ещё не видала.

Она звонко крикнула ему:

– Огей! Чужестранец! Держитесь крепко, а я помогу вам.

Незнакомец со стоном поднял бледное лицо, черты которого ускользали в полутьме, и кивнул головой. Но как же могла помочь ему великодушная принцесса? Спуститься ниже для неё было и немыслимо и бесполезно. Если бы была верёвка!.. Высота всего лишь в два крупных человеческих роста отделяла принцессу от путника. Как быть?

И вот, точно молния озарила Эрну одна из тех вдохновенных мыслей, которые сверкают в опасную минуту в головах смелых и сильных людей. Быстро скинула она с себя своё прекрасное голубое платье, сотканное из самого крепкого и прекрасного льна; руками и зубами разорвала его на широкие длинные полосы, ссучила эти полосы в тонкие верёвки и связала их одну с другой, перевязав ещё несколько раз для крепости посередине. И вот, лёжа на грубых камнях, царапая о них руки и ноги, она спустила вниз самодельную верёвку и радостно засмеялась, когда убедилась, что её не только хватило, но даже оказался большой запас. И увидев, что путник, с трудом удерживая равновесие, между расщелиной и сосновым стволом, ухитрился привязать конец верёвки к своему поясу из буйволовой кожи, Эрна начала осторожно вытягивать верёвку вверх. Чужеземец помогал ей в этом, цепляясь руками за каждые неровности утёса и подтягивая кверху своё тело. Но когда голова и грудь чужеземца показались над краем площадки, то силы оставили его, и Эрне лишь с великим трудом удалось втащить его на ровное место.

Так как обоим было слишком тесно на площадке, то Эрне пришлось, сидя, положить голову незнакомца к себе на грудь, а руками обвить его ослабевшее тело.

– Кто ты, о волшебное существо? – прошептал юноша

побелевшими устами. – Ангел ли, посланный мне с неба? Или добрая фея этих гор? Или ты одна из прекрасных языческих богинь?

Принцесса не понимала его слов. Зато говорил ясным языком нежный, благодарный и восхищённый взор его чёрных глаз. Но тотчас длинные ресницы сомкнулись, смертельная бледность разлилась по лицу. И юноша потерял сознание на груди принцессы Эрны.

Она же сидела, поневоле не шевелясь, не выпуская его из объятий и не сводя с его лица синих звёзд своих глаз. И тайно размышляла Эрна:

«Он так же некрасив, этот несчастный путник, как я, как и мой славный предок Эрн Великий. По-видимому, все мы трое люди одной и той же особой породы, физическое уродство которой так резко и невыгодно отличается от классической красоты жителей Эрнотерры. Но почему взгляд его, обращённый ко мне, был так упоительно сладок? Как жалки перед ним те умильные взгляды, которые вчера бросали наши юноши на девушек, танцуя с ними? Они были как мерцание свечки сравнительно с сиянием горячего полуденного солнца. И отчего же так быстро бежит кровь в моих жилах, отчего пылают мои щёки и бьётся сердце, отчего дыхание моё так глубоко и радостно? Господи! Это твоя воля, что создал ты меня некрасивой, и я не ропщу на тебя. Но для него одного я хотела бы быть красивее всех девиц на свете!»

В это время послышались голоса. Кормилица, правда, не скоро оправилась от оцепенения, в которое её поверг властный приказ принцессы. Но, едва оправившись, она тотчас же устремилась вслед своей дорогой дочке. Увидев, как Эрна спускалась прыжками со скал, и услышав стоны, доносившиеся из пропасти, умная женщина сразу догадалась, в чём дело и как ей надо поступить. Она вернулась в деревню, всполошила соседей и вскоре заставила их всех бежать бегом с шестами, верёвками и лестницами к обрыву. Путешественник был бесчувственным невредимо извлечён из бездны, но прежде чем вытаскивать принцессу, кормилица спустила ей на бечёвке свои лучшие одежды. Потом чужой юноша был по приказанию Эрны отнесён во дворец и помещён в самой лучшей комнате. При осмотре у него оказалось несколько тяжёлых ушибов и вывих руки; кроме того, у него была горячка. Сама принцесса взяла на себя уход за ним и лечение. Этому никто не удивился: при дворе знали её сострадание к больным и весьма чтили её медицинские познания. Кроме того, больной юноша хотя и был очень некрасив, но производил впечатление знатного господина.

Надо ли длинно и подробно рассказывать о том, что произошло дальше? О том, как благодаря неусыпному уходу Эрны иностранец очнулся, наконец, от беспамятства и с восторгом узнал свою спасительницу. Как быстро стал он поправляться здоровьем. Как нетерпеливо ждал он каждого прихода принцессы и как трудно было Эрне с ним расставаться. Как они учились друг у друга словам чужого языка. Как однажды нежный голос чужестранца произнёс сладостное слово «amo!» и как Эрна его повторила робким шёпотом, краснея от радости и стыда. И существует ли хоть одна девушка в мире, которая не поймёт, что слово «amo» значит «люблю», особенно когда это слово сопровождается первым поцелуем?

Любовь – лучшая учительница языка. К тому времени, когда юноша, покинув постель, мог прогуливаться по аллеям дворцового сада, они уже знали друг о друге всё, что им было нужно. Спасённый Эрною путник оказался единственным сыном могущественного короля, правившего богатым и прекрасным государством – Францией. Имя его было Шарль. Страстное влечение к путешествиям и приключениям привело его в недоступные грозные горы Эрнотерры, где его покинули робкие проводники, а он сам, сорвавшись с утёса, едва не лишился жизни. Не забыл он также рассказать Эрне о гороскопе, который составил для него при рождении великий французский предсказатель Нострадамус и в котором стояла, между прочим, такая фраза:

«…и в диких горах на северо-востоке увидишь сначала смерть, потом же синюю звезду; она тебе будет светить всю жизнь».

Эрна тоже, как умела, передала Шарлю историю Эрнотерры и королевского дома. Не без гордости показала она ему однажды доспехи великого Эрна. Шарль оглядел их с подобающим почтением, легко проделал несколько фехтовальных приёмов тяжёлым королевским мечом и нашёл, что портреты пращура Эрны изображают человека, которому одинаково свойственны были красота, мудрость и величие. Прочитавши же надпись на стене, вырезанную Эрном Первым, он весело и лукаво улыбнулся.

– Чему вы смеётесь, принц? – спросила обеспокоенная принцесса.

– Дорогая Эрна, – ответил Шарль, целуя её руку, – причину моего смеха я вам непременно скажу, но только немного позже.

Вскоре принц Шарль попросил у короля и королевы руку их дочери: сердце её ему уже давно принадлежало. Предложение его было принято. Совершеннолетние девушки Эрнотерры пользовались полной свободой выбора мужа, и, кроме того,

молодой принц во всём своём поведении являл несомненные знаки учтивости, благородства и достоинства.

По случаю помолвки было дано много праздников для двора и для народа, на которых веселились вдоволь и старики и молодёжь. Только королева-мать грустила потихоньку, оставаясь одна в своих покоях. «Несчастные! – думала она. – Какие безобразные у них родятся дети!..»

В эти дни, глядя вместе с женихом на танцующие пары, Эрна как-то сказала ему:

– Мой любимый! Ради тебя я хотела бы быть похожей хоть на самую некрасивую из женщин Эрнотерры.

– Да избавит тебя Бог от этого несчастья, о моя синяя звезда! – испуганно возразил Шарль. – Ты прекрасна!

– Нет, – печально возразила Эрна, – не утешай меня, дорогой мой. Я знаю все свои недостатки. У меня слишком длинные ноги, слишком маленькие ступни и руки, слишком высокая талия, чересчур большие глаза противного синего, а не чудесного жёлтого цвета, а губы, вместо того чтобы быть плоскими и узкими, изогнуты наподобие лука.

Но Шарль целовал без конца её белые руки с голубыми жилками и длинными пальцами и говорил ей тысячи изысканных комплиментов, а глядя на танцующих эрнотерранов, хохотал как безумный.

Наконец праздники окончились. Король с королевой благословили счастливую пару, одарили её богатыми подарками и отправили в путь. (Перед этим добрые жители Эрнотерры целый месяц проводили горные дороги и наводили временные мосты через ручьи и провалы.) А спустя ещё месяц принц Шарль уже въезжал с невестой в столицу своих предков.

Известно уже давно, что добрая молва опережает самых быстрых лошадей. Всё население великого города Парижа вышло навстречу наследному принцу, которого все любили за доброту, простоту и щедрость. И не было в тот день не только ни одного мужчины, но даже ни одной женщины, которые не признали бы Эрну первой красавицей в государстве, а следовательно на всей земле. Сам король, встречая свою будущую невестку в воротах дворца, обнял её, запечатлел поцелуй на её чистом челе и сказал:

– Дитя моё, я не решаюсь сказать, что в тебе лучше: красота или добродетель, ибо обе мне кажутся совершенными…

А скромная Эрна, принимая эти почести и ласки, думала про себя:

«Это очень хорошо, что судьба меня привела в царство уродов: по крайней мере никогда мне не представится предлог для ревности».

И этого убеждения она держалась очень долго, несмотря на то, что менестрели и трубадуры славили по всем концам света прелести её лица и характера, а все рыцари государства носили синие цвета в честь её глаз.

Но вот прошёл год, и к безнадёжному счастью, в котором протекал брак Шарля и Эрны, прибавилась новая чудесная радость: у Эрны родился очень крепкий и очень крикливый мальчик. Показывая его впервые своему обожаемому супругу, Эрна сказала застенчиво:

– Любовь моя! Мне стыдно признаться, но я… я нахожу его красавцем, несмотря на то, что он похож на тебя, похож на меня и ничуть не похож на наших добрых соотечественников. Или это материнское ослепление?

На это Шарль ответил, улыбаясь весело и лукаво:

– Помнишь ли ты, божество моё, тот день, когда я обещал перевести тебе надпись, вырезанную Эрном Мудрым на стене охотничьей комнаты?

– Да, любимый!

– Слушай же. Она была сделана на старом латинском языке и вот что гласила: «Мужчины моей страны умны, верны и трудолюбивы: женщины – честны, добры и понятливы. Но – прости им Бог – и те и другие безобразны».

notes

Примечания

1

И сильно! И сильно! (*нем.*)

2

Готовы! (*нем.*)

3

Свинья! (*нем.*)

4

Что здесь происходит? (*англ.*)

5

Ты думаешь? Ты полагаешь? Какая мысль!.. (*фр.*)

6

На английский манер (*фр.*).

7

Ах, боже мой! (*фр.*)

8

Рамена (*устар.*) – плечи.

9

Извините, княгиня… (фр.)

По`шло, от фр. mesquin.

11

Г*рубо, от фр. brutal.*

12

Игнорировала от фр. ignorer.

13

П*роказы – от фр. escapade.*

14

Рассказ относится к 1885 г. Кстати заметим, что основная фабула его покоится на действительном факте, сообщённом автору в Москве М. А. З-вой, близко знавшей семью, названную в рассказе вымышленной фамилией Рудневых (прим. А. И. Куприна).

15

Перестаньте же, Лидия, вы невозможны (фр.).

«*Венгерская рапсодия*» (*фр.)*.